

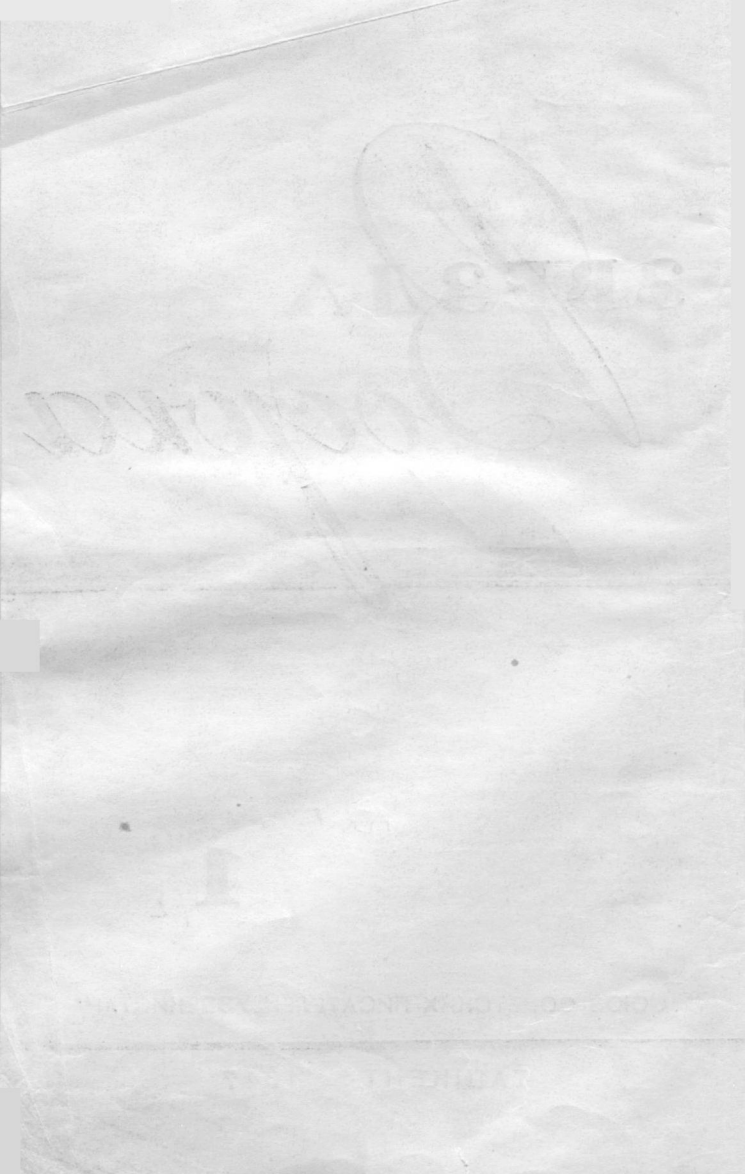
ЗВЕЗДА

Востока

1₂

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

ТАШКЕНТ · 1947



ЗВЕЗДА Востока

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О -
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -
П О Л И Т И Ч Е С К И Й
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА

СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

№ 1 Объединенное изд-во «Правда Востока» и «Кзыл Узбекистан» 1947

2

СВЕТЛАНА СОМОВА

МОСКВА

Поросшая белыми мхами морозов
Громада Кремлевской стены.
А снег от рубиновых отсветов розов
И снежные дали ясны.
Москва моя светлая, я издалека
Под стены седые пришла,
С дорог и тропинок родного востока
Я песни тебе принесла.
Декабрьская полночь клубится на крыше,
Все реже потоки огня...
Теперь, когда стало просторней и тише,
Ты можешь услышать меня.
А песни—песчинки. Их солнечный шорох
Кочующей вверен судьбе,
Они—об открытых тобою просторах
И, значит, они—о тебе!



ИЗЫСКАТЕЛИ

Бескрайней пустыней с друзьями мы шли
И песнь о воде по барханам несли.
И звезды казались так странно-близки,
Что их белизну отражали пески.
И ящериц легких мгновенный узор
Тогда покрывал круглободкий бугор...

Но звезды за край горизонта плывут,
А люди песками идут и идут.

* * *

За ними, за ними, сквозь эти пески
Пробились разбуженные ручейки,
Ватаги обрадованных соловьев
За ними летели из дальних садов,
А люди большую дорогу вели,
Чтоб город построить в песчаной дали.

Глядишь, вот и солнечный город готов,
И наших, песчаных, не видно следов...

* * *

Волна пробегает по этим следам,
Тюльпан расцветает по этим следам,
И каждое утро какой-нибудь там
Мальчишка шагает по этим следам,
По белой дороге, у синей воды,
И все это — песни живые лады.

Какая отрада с той песней дружить,
Счастливых земель открывателем быть!

А. КАХХАР

„ДВА ЧИНАРА“

Роман

ПОСЛЕДНИЙ БАТРАК

— Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит!— ворчала старуха, запирая амбар на замок.— Жиром оброс! Опять к рваному халату да веревочному кушаку потянуло!

Сыдык-джану много раз приходилось слышать от тещи такие упреки, но до сих пор он сносил их молча, а тут не стерпел:

— От объедков жадного—живот болит, говорят. А от ваших объедков я жиром оброс, — проговорил он насмешливо.

У старухи дух перехватило от злости. Она подцепила рукой только что взятую из амбара корзину с ватой, рванула приставленную к стене прялку и, сердито бормоча себе под нос, скрылась на свою половину.

Сыдык-джан направился было к калитке, но его остановила жена:

— Пойдите, прежде раздел дайте!

Сыдык-джан метнул взгляд в сторону крыльца. Жена побледнела. Оторвав ребенка от груди, она швырнула его в зыбку и резко, рывками принялась раскачивать ее.

— Что ты сказала? Раздел? Я пока никуда не собираюсь. Хочешь сказать: „Уходи!“— так говори прямо. У меня в этом доме, кроме ребенка, ничего нет. Да и он наполовину твой... Так уходить?..

— Откажитесь от задуманного! А не то я... с отцом-матерью останусь!

— Сказал же я: отец согласен! Не умер он, вечером придет—спросишь.

— Они согласны и пусть согласны, а я не согласна!

Сыдык-джан молча повернулся и вышел на улицу.

Старуха продолжала ворчать. Теперь она проклинала дочь: — Подохнуть тебе, сука! Откормила бродячего пса. Правду говорят: псу кусок свой положишь, а он и голову тебе обгложет. И добро бы, твою голову обглодал...

Шарафат, не подавая голоса, горько заплакала. „Сука“ — такого слова и последняя потаскуха не перенесла бы, в волоса вцепилась. Шарафат же, прикусив язык, молчала. Как и все последние дни, которые начинались для нее горем, а кончались большим вдвое, она не то что матери или отцу слово сказать, подойти к ним боялась. А молчать ей приходилось вот почему.

Ровно десять лет назад минорка, что сидела на яйцах в кладовке на балахане, вдруг, ни с того, ни с сего раскудаhtалась, вскочила с гнезда и слетела в сад к Сабир-джану-кары. Шарафат перелезла через дувал и погналась за курицей. Но та никак не хотела поддаваться: забралась под куст колючки и притаилась. Шарафат долго пыталась схватить клушку, вся измучилась, руки о колючки исколола, изорвала подол платья, но ничего не могла поделывать.

Сыдык-джан, тогда он был батраком Сабир-джана-кары, работая по другую сторону арыка, долго наблюдал за девушкой. Он — простой батрак, она — дочь человека с достатком. Короче говоря, между ними была высокая гора. И разве Шарафат могла подумать, что есть такая сила, такое чудо, что за один миг может эту высокую гору стереть в толокно! Сначала девушка, правда, побаивалась: не говоря уже о беседе с Сыдык-джаном, если бы отец увидел, что она в сад Сабир-джана-кары забралась, — шкуру ее соломой набил бы, камчу кровью окрасил. Но потом Шарафат и отцовскую камчу, и притаившуюся под колючкой курицу забыла. На озорное заигрыванье Сыдык-джана она только и нашлась сказать: „Ах, какой вы... нехороший“.

С этого дня у Сыдык-джана появилась привычка, выходя в сад, напевать песни. Песни эти вызывали в сердце девушки чувства, в которых она и сама разобраться как следует не могла: хорошо было заглянуть опасности вот так, прямо в лицо, а затем повернуться и — бежать от нее без оглядки.

Как ни страшно было, но Шарафат еще несколько раз бывала в саду Сабир-джана-кары. Весь ужас этого начавшегося шуткой дела сказался осенью того же года, когда из одного почтенного дома были присланы свахи, и отец с матерью запросили за Шарафат большой калым. Перед глазами Шарафат во всех подробностях возникло все, что неизбежно должно было последовать за первой же ночью после свадьбы, и она, предавшись на волю судьбы, повалилась в ноги своей тетке и повинилась в своем грехе. Прикрытый котел, как говорится, должен остаться прикрытым, тайна должна остаться тайной. Шарафат спасли от отцовского гнева. Мать тут же послала к сватам надежного человека с отказом: „Дочери не по сердцу, есть у нее свой желанный, силой же дело вершить времена теперь не те“. А что касается отца, то он даже обрадовался: „У меня давно было желание приласкать этого работягу Сыдык-джана, и дочка, отдав ему сердце, голову мою до небес подняла, превыше всякого ожидания меня порадовала“, — сказал он и тут же

принялся хлопотать насчет свадьбы. Короче говоря, Сыдык-джан стал зятем Зуннуна-ходжи.

Когда обманутая в своих надеждах на хороших сватов мать совсем уже было уморила Шарафат своими укорами и попреками, на счастье была объявлена земельная реформа. Это приободрило Шарафат. Ей уже не было надобности сносить все молча, потому что, не будь Сыдык-джана, им бы даже рисового поля не оставили. После земельной реформы прошлое Сыдык-джана понемногу стало забываться. Старуха и дочку простила — мол: „Всякое дело от бога“. Зуннун-ходжа — глава семейства, старуха ведала домом, Сыдык-джан пахал, сеял, навоз на поле возил, урожай в амбар ссыпал. Так тихо-мирно проходили годы. Покой этот был нарушен месяцев шесть тому назад, и причиной этому была мать Сыдык-джана.

Мать Сыдык-джана, тетушка Ходича, много перенесла в своей жизни, перевидала много нужды и горя, но, как и все кишляч-ные пожилые люди, не думала поддаваться старости; она была бодрой, проворной старушкой и, считая, что „лучше без милости кулак, чем из милости кусок“, кое-как перебивалась, проживая вместе с младшим сыном своим Абид-джаном в соседнем кишляке в маленькой хибарке, оставшейся ей от мужа.

Когда Сыдык-джан работал батраком у Сабир-джана-кары, тетушка Ходича считала его как бы под своим крылом. А вот когда Сыдык-джан пошел в зятя к Зуннуну-ходже, она почувствовала себя на положении курицы, высидевшей утенка. Может быть, именно поэтому она и бывала у старшего сына редко — один, много два раза в год.

В последний раз тетушка Ходича навещалась сюда месяцев шесть назад. Она принесла в подарок узелок с айвой, немного посидела и, как только солнце стало клониться к западу, заспешила домой. Когда Сыдык-джан, проводив мать, вернулся к себе, то первое, что попало ему на глаза, была эта самая айва. Айва валялась на старом деревянном помосте в винограднике и выглядела жалкой и беспомощной. Сыдык-джан собрал айву, отнес ее на крыльцо и аккуратно сложил на полку. Однако айва и отсюда поглядывала на него так же грустно и сиротливо и, казалось, говорила с укоризной: „Зачем меня сюда принесли, зачем бросили! Кому я нужна здесь?“ Сыдык-джан взял и съел подряд четыре штуки. Тут перед его глазами вдруг возникла фигура старухи-матери, устало шагавшей по пыльной дороге. Почему он не отвез мать на лошади? Почему не сказал ей: „Переночуй здесь сегодня, отдохни!“ Сердце его неприятно защемило.

В эту ночь Сыдык-джан долго не мог заснуть, все думал: „Как могло так получиться? По недогадливости или потому, что сердце зачерствело?“ Тут как-то само собой вспомнилось, что с тех пор, как он переступил порог этого дома, мать, если не считать ночи после его свадьбы, ни разу здесь не заночевала, и никто никогда даже и не подумал отвезти ее домой. Сыдык-

джан подивился, почему все это только сейчас пришло ему в голову, и должен был признать, что недогадливость тут вовсе не при чем, что это с его стороны просто-напросто неуважение и бессердечие. Как же могло так случиться? Когда-то, переступая порог этого дома, он радовался: „Вот и счастье пришло“, подразумевая при этом прежде всего счастье матери. Как же он мог ни разу даже не подумать о том, что матери, может быть, трудно приходиться к нему и возвращаться домой в тот же день пешком?

В поисках ответа на этот вопрос Сыдык-джан невольно столкнулся с вопросом, еще более настоятельно требовавшим разрешения. Как жила мать эти десять лет? Чем он помогал ей? Раздумывая об этом, Сыдык-джан только и мог припомнить семнадцать килограммов шалы, отвезенных им матери в прошлом году, — вот и вся его помощь. Он горько усмехнулся: ведь этой шалы мать даже и не попробовала — продала и купила Абиджану рубаху со штанами, а себе поношенные ичиги.

Чем больше думал Сыдык-джан о матери, тем очевиднее становилось, что он и в самом деле нерадивый сын. В душе он никак не хотел сознаваться в этом и придумывал себе в оправдание десятки причин; однако, ни одной причины такой, чтоб могла его оправдать по-настоящему, так и не нашлось. Правда, в первый год после женитьбы и земля, которую пахал он, и даже постель, на которой спал он, принадлежали Зуннуу-ходже. Сам ведь он, что мышья — только-только в нору мог втиснуться; где уж там было привязывать к хвосту решето чужих забот! А после? После, когда земельная реформа сделала его равноправным хозяином земли? И оказалось, что каждый год, весной, он говорил себе: „Ну, бог даст, этой осенью я обеспечу мать на зиму“, но осенью выходило так, что „концы с концами“ не совсем сходятся и, „этакая досада“, выполнение задуманного откладывалось до будущего года.

Перебирая в памяти прошлое, Сыдык-джан дивился не столько тому, что каждую осень он ограничивался все тем же „этакая досада!“, сколько тому, что в доме Зуннуу-ходжи он жил уже много лет, а „концы с концами“ все не сходились, как хотелось бы. „В самом деле, — думал он, — почему иные люди едят, пьют, целый выводок душ кормят и не то что мать, — ослепшую жену неродного брата под своим крылом пригревают? Почему люди дома строят, сыновьям тои устраивают, на поминки, на свадьбы, да еще с подарками ходят, на велосипедах катаются?

Думая так, Сыдык-джан имел ввиду своего приятеля Хайдар-али, бывшего кучера того самого Сабир-джана-кары, у которого и сам он когда-то служил батраком.

Горечь и досада все больше переполняли сердце Сыдык-джана. В ту ночь он так и не сомкнул глаз.

Вышло так, что с тех пор Сыдык-джан начал сравнивать свою жизнь в доме тестя с тем временем, когда он был батраком, а

затем — с жизнью Хайдар-али и, хотя до этого был вполне доволен своим положением, с каждым днем начал находить в нем все новые и новые изъяны. Он стал несдержанным, не выносил резкого слова; руки его не поднимались ни на какую работу.

Садык-джан пытался поставить себя рядом с Хайдар-али. Когда они оба жили у порога Сабир-джана-кары, вместе работали, делились горестями и радостями, он — Сыдык-джан — говорил ему „ты“ и звал запросто Хайдаром, а теперь как-то вышло, что он вот уже сколько времени стал обращаться к Хайдару на „вы“ и, хотя тот был на год или даже на два моложе, величать его почтительным „Хайдар-али-ака“. Тот самый Хайдар, что на свадьбе Сыдык-джана, постеснявшись пройти в дом, угощался во дворе вместе с мальчишками и нищими, теперь на тоях или поминках проходит прямо к почетному месту и садится рядом с самыми уважаемыми людьми. В чайхане он пьет чай не иначе, как на одном, из первых мест. Он читает газеты и рассуждает о таких вещах и говорит такие слова, что Сыдык-джан их ни умом постичь, ни языком выговорить не может. И сам он теперь уже не Хайдар, а „Хайдар-али Усман-алиев“ или „товарищ Усман-алиев“. И почему это, когда говорят „товарищ Усман-алиев“, выходит очень складно, а попробуйте сказать „Сыдык-джан Сахиб-джанов!“ И нескладно, и не подходит вовсе, все равно что в извозничью коляску впречь быка — смешно получается.

Когда Сыдык-джан поразмыслил вот так над своим положением, ему стало ясно, что против жизни Хайдар-али его жизнь — не жизнь, а так, прозябание только. Когда говорят — жизнь, то имеют ввиду и землю, и солнце, и цветы, и пение соловья, и любовь, и гнев. И все это нужно, и все это необходимо. Когда человек живет, это значит, что он и отдыхает, и гневается, и печалится, и радуется. И все это — словно зернышки целого граната: и красиво, и интересно, и приятно. А что до человека, у которого в жизни только и заботы, что о пропитании, то он нисколько не отличается от червяка, забравшегося в яблоко.

Сыдык-джан решил сменить путь прозябания на путь жизни. Однако, сам он этого пути найти не мог, ему надо было идти по чьему-нибудь следу. И так как в тот момент он не видел другого пути, кроме пути Хайдар-али, то он и решил вступить в колхоз.

В один из дней Сыдык-джан сказал о своем намерении Зунну-ходже. Зунну-ходжа ответил ему: „Вы и зять мой, вы и сын мой, как для вас лучше, так и делайте“. Сыдык-джан поверил его словам и стал всерьез собираться вступить в колхоз. Это-то и послужило причиной нарушения покоя в семье, поэтому-то старуха снова припомнила старое — снова начались укоры: Сыдык-джана она корила за его прошлое, а дочь — за ее грех.

Сыдык-джан, получив согласие Зунну-ходжи, первое время не обращал внимания на ворчанье старухи и только сегодня, когда жена ему заявила: „Откажитесь от задуманного, а не то я с отцом-матерью останусь“, он решил: „Пожалуй, не обойтись

без того, чтобы не свести мать и дочь глаз-на-глаз с отцом.* Поэтому он и не нашел нужным на этот раз что-нибудь возразить жене.

Вечером, когда вся семья оказалась в сборе, позеленевшая от злости старуха пустила в ход три связки пожелтевших от времени бумаг.

— На этих бумагах муллы Шарафиддина печать есть, мулладжана-казы печать есть!—вопила она, перебирая бумаги дрожащими руками.— И при таких-то бумагах этот исполком, подохнуть ему маленьким, посмел землю на Какыре отобрать! О боже, да ослепят его эти бумаги! И добро бы землю хорошему человеку отдал, а то батраку Абдурахмана-ходжи! А тот бесстыдник с этой землей в колхоз вступил и, на тебе, — советом урожайности стал! Я от властей землю не получала, чтоб раздаривать ее кому попало. Кто хочет землю отдавать, прежде сам пусть ее наживет!

Посмеиваясь в закрученные, как бараньи рога, усы, Сыдыкджан взглянул на Зуннуна-ходжу. Старик почесал лоб, потом, поглаживая бороду и поглядывая на гнездо ласточки, прилепившееся к потолку террасы, сказал:

— Таких необдуманных слов не говори. Почему это земля в твоей воле должна быть? Земля Сыдыкджана. Захочет он — власти отдаст, захочет — бросит и пахать не станет.

— По этому пути бог направляет тех, на кого гневается, — проговорила старуха, собирая бумаги. — Как может человек врагом своего собственного добра стать?

— Почему это я врагом стал? — возразил Сыдыкджан по возможности мягко. — Вы думаете, что говорите?

— А что ж, душа у вас болит? Если бы вы землю нажили своим горбом, тогда бы душа ваша в самом деле болела за нее.

Сыдыкджан покраснел и бросил взгляд на Зуннун-ходжу, будто хотел сказать: „Да уймите же ее!“ Зуннун-ходжа, желая показать, что он вовсе и не думает принимать всерьез сказанное старухой и целиком поддерживает сторону Сыдыкджана, деланно зевнул и рассмеялся:

— Последние дни только скажи: „Колхоз“, а у тебя уже и шерсть торчком поднимается. Колхоз, это такая штука: кто пожелает, вступает, а кто не пожелает, тюбетейку заломивши, ходит себе и хоть бы что ему. Так ведь, Сыдыкджан?

— Конечно, никто никого арканом не тянет. Кто сознательный и понимает — вступает, а кто не понимает — не вступает. Вот если бы и те, что прислушиваются к словам разных духовников, вступали...

Слово „духовники“ Сыдыкджан всегда употреблял в смысле „противники власти“. Это все понимали в семье. Сейчас он сказал так, чтобы укоротить язык старухи и подбодрить Зуннуна-ходжу. Однако, Зуннун-ходжа, против ожидания, нахмурился:

— Если это делается по желанию, значит и те, кто в колхоз не хотят вступать, и те, кто не советуют вступать, не могут быть

духовниками,—глядя в сторону, проговорил он холодно, но тут же спохватился и, повернувшись к старухе, закричал:

— Мозги есть у тебя? Хоть Сыдык-джан и вступит в колхоз, земля от того в колхоз не переберется, только в общем пользовании будет!

Старуха торопливо собрала бумаги и, не переставая ворчать, направилась в дом.

— Боже, что за время настало, будь оно проклято! О сила небесная, что за человек это? Что это за человек такой: свое добро, свое собственное добро в общий круг кидает! Да он завтра и жену выведет из дома и общей сделает!

Сыдык-джан побелел.

— Матушка,—проговорил он, сдерживая дрожь,—думайте, о чем говорите! Услышит кто такие ваши слова, к ответу могут призвать. Я не доносчик, только... это сводничество от таких вот, как вы, исходит. От таких, что недавно Инам-джану предлагали: „Постарайся поправиться моей дочери, я разведу ее с мужем и за тебя выдам“.

— Какой это такой Инам-джан?

— Какой же еще Инам-джан может быть? Тот самый, дяди вашего сын.

— А хоть бы и сказала так,—завопила старуха, останавливаясь на пороге,—подумаешь, плохо сделала?! Хорошо сделала!

Старуха оперлась руками в бока и вызывающе продолжала:

— Дело мужчины добывать, дело женщины в постели лежать! А для человека, что землю разбазаривает, у меня дочери нет!

Зуннун-ходжа, делая вид, что принимает сторону Сыдык-джана, швырнул в старуху капишем и закатил пощечину дочери, собравшейся что-то возразить Сыдык-джану. Затем заговорил с укором, но ласковд:

— Сыдык-джан, говорю, человеку всегда осмотрительность, степенность нужна. Я вам дом дал, приютил, обласкал вас. Было время, хлебом-солью кормил... И теперь, коли доходит до того, что вы нас с матерью сводниками будете обзывать,—нехорошо будет. Мать ваша так сказала, говорите,—что ж, сказала, и пусть ее. Это ведь женские слова. А может и не говорила она, может это недруга какого-нибудь навет. Как мог у вас язык повернуться так сказать? Ну, ладно. Человек в гневе всякое наговорить может, я обижаться не собираюсь. Только вот что: с тем, что вы в колхоз вступаете, я согласен; если и жена ваша и мать согласны были бы, то и куда лучше. Ну, а если жена ваша и мать не согласны, какая необходимость обижать их и затевать дело, которое может послужить причиной разных обидных слов и раздела?

— Прежде всего вот что, отец. Ваши укоры, что, де, и пригрел тебя и обласкал тебя, вовсе теперь неуместны. Верно, человеку нужна осмотрительность, но прежде-то ему нужна совесть.

— Как это так?

— Зачем вам старое вспоминать? А потом слова эти может быть и вносят разлад, только разлад уже получился и причина тому—мое желание вступить в колхоз.

— А коли так, зачем вам вступать? Не вступайте!

Намереваясь что-то сказать, Сыдык-джан раза два раскрывал рот и, наконец, пробормотал:

— Человек не родится на свет, чтобы жиреть, как свинья, или плодиться, как вошь.

Зуннун-ходжа метнул в него взглядом:

— Что вы хотите этим сказать?

— Хочу сказать, что я человек!—проговорил Сыдык-джан, глядя прямо ему в глаза.

— Кто же вас за человека не считает?

— Все в кишлаке, у кого разум есть, не считают!

— Выходит, что я принимал вас за человека потому, что у меня разума нет?

— Ума-то у вас побольше, чем у других, есть. На ишаке, говорят, без седла ездить нельзя—упадешь обязательно. Называя меня человеком, вы тем самым накидываете на меня седло.

Зуннун-ходжа деланно рассмеялся:

— Отсюда следует: я тиран-бай, а вы батрак, значит?

— У батраков земли не бывает. А вы сами сказали, что земля Сыдык-джана.

— А чья же?

— Моя. Этим вы и хотите сказать, что я человек.

— Значит, если я сказал, что земля ваша, то этим самым заседлал вас?

— Нет, не совсем так. Это значит, что вы заседлали меня и уверяете, что седло это мое собственное.

Зуннун-ходже с большим трудом удалось-таки улыбнуться.

— Оказывается, вас изрядно уже латинской грамоте обучили!

— Кто?

— Откуда мне знать? Учителя ваши.

— Мой учитель—мои глаза.

Зуннун-ходжа, не зная, что сказать, заговорил о другом:

— Оставьте, Сыдык-джан, оставьте эти разговоры, нехорошо. На дело, которое начинается ссорами, я тоже не дам своего согласия.

Не зная, как покороче объяснить, что он не собирается отказываться от своего намерения, Сыдык-джан помедлил с ответом.

Зуннун-ходжа, поняв это молчание по-своему, подумал: „А что, если, не откладывая, взять сейчас и сказать, что я не согласен?“. И желая намекнуть, каковы могут быть последствия его несогласия, он напомнил:

— У вас ребенок есть!

— А еще что у меня есть?—проговорил Сыдык-джан и взглянул на Зуннуна-ходжу широко открытыми глазами.

Вид Сыдык-джана показал Зуннуну-ходже, что он просчитался. Он почувствовал себя в положении борца, который, кинув своего противника на землю, уже считал, что борьба окончена, но противник, ловко вывернувшись, оказался лежащим не на обеих лопатках, а на боку. Надо было снова брать инициативу в свои руки и начинать сначала. Зуннун-ходжа, стремясь взять верх, гневно проговорил:

— А чего еще надо?

— А что у меня есть еще?

— Не вступите вы в колхоз!

— Вступлю!

— Не вступишь!

— Вступлю!

— Глупец!

— Потому я и оказался в таком положении, что глуп был!

— Уважь цыгана, а он и на почетное место в капишах¹ заберется.

— Если б я не стал цыганом, — не отбил бы от своего стада. Кто от своих отобьется, того, говорят, волк съест.

— Это я-то волк! Пес!

— Благодарствую! Если я пес, пусть золотая цепь, что на моей шее, вам останется. Говоря по-новому: не желаю я жить больше с вашей дочерью, а по-старому — скажу трижды „развод!“²

Сыдык-джан поднялся, отряхнул полы халата и направился к калитке.

Ни Зуннун-ходжа, ни старуха, наблюдавшая за происходившим, стоя у порога низенькой двери, никак не ожидали, что разговор кончится так. Зуннун-ходжа до того опешил, что не мог вымолвить слова. Бессмысленный взгляд его задержался на дочери. Старуха, догадавшись, что надо делать, крикнула:

— Шарафат!

Шарафат и отцовский взгляд, и восклицание матери поняла как приказ: „Верни его!“.

— Постой! — крикнула она, вскакивая с места. — Уходить хочешь, ребенка своего забирай!

Сыдык-джан остановился. Когда голос жены достиг его ушей, в его сознании нашли отзвук прежде всего не слова жены: „Ребенка забирай“, а впервые обращенное к нему „ты“. И если до последней минуты его с этим домом еще связывало что-то, то теперь оборвалась и последняя нить.

— Что ты сказала? Ребенка забрать?

Не ожидая ответа, Сыдык-джан подошел к зыбке, взял ребенка и, прижимая его к груди, выбежал на улицу.

Не зная, что делать, Шарафат растерянно взглянула на отца, потом на мать, но так как ни тот, ни другая не произнесли ни

¹ Капиши — кожаные галоши.

² Троекратное произнесение слова „талак“ — развод влекло за собой окончательное расторжение брака.

звука, она, как была, босая, с непокрытой головой, кинулась вслед Сыдык-джану. Сыдык-джан, все так же прижимая ребенка, быстро шел посредине улицы.

— Пстой! Пстой, говорю!

Сыдык-джан остановился.

— Дай сюда ребенка! Давай сюда!

Шарафат подбежала к Сыдык-джану, вырвала ребенка из его рук. Ребенок заплакал.

Когда Шарафат скрылась в воротах, сердце Сыдык-джана защемило, на глазах его показались слезы. Он часто заморгал ресницами, тихо повернулся и, низко опустив голову, пошел по улице, медленно-медленно переставляя ноги.

СНОВА В ПУТЬ

Во время размолвки с тестем, когда он объявлял—при чем не однократно, не двукратно, а сразу троекратно—развод жене, Сыдык-джан думал: „Вся трудность в том, чтобы порвать с этим домом, покинуть его, причем покинуть так, чтобы не оставалось пути к возврату. Преодолеешь это, а дальше все просто“. Он был уверен, что весь кишлак, все многочисленные друзья его и знакомые только и ждут, когда он уйдет из этого дома и, как только он уйдет из него, со всех сторон послышится: „Избавился? Очень хорошо! Ну, проходи сюда, присаживайся!“ Однако сейчас, когда он, покинув семью, одинокий шел ночью по безлюдной полевой дороге, от этой его уверенности ничего не осталось. Теперь ему казалось, что все давным-давно от него отвернулись и, занятые каждый своими заботами и делами, не то что места ему уступить, протянутой ноги ради него подобрать не подумают. Ясно, что за десять лет он старых своих друзей-приятелей растерял, а нового ни одного не нашл. Теперь единственной всегда открытой для него дверью была только дверь материнского дома, и ободряющее: „Заходи, заходи!“ он мог услышать только от нее же, от матери. Мать, от которой он с каждым годом отдалялся все больше, теперь с каждым шагом казалась для него все более близкой и, будто, уже держала его в своих объятьях. К горлу Сыдык-джана подкатил теплый комок. Он, как побитый на улице мальчишка, готов был расплакаться и, уткнувшись матери в колени, горько жаловаться на обидевшую его судьбу.

В таком состоянии вошел Сыдык-джан в свой родной кишлак. Он не собирался рассказывать матери о том, что произошло в доме тестя и, чтобы не расстраивать ее, подходя ко двору, постарался взять себя в руки и принять бодрый, довольный вид.

... Старый тут во дворе был освещен лучами чирака¹, падавшими из открытой двери; из дома слышалось шарканье капищей.

¹ Чирак — каганец, светильник.

Когда Сыдык-джан постучал в калитку, послышался голос тетушки Ходичи: „Кто там? Абиджан, посмотри-ка!“ и тут же Сыдык-джан услышал шаркающие шаги; не дождавшись Абиджана, мать сама открыла калитку.

Тетушка Ходича застыла, ошеломленная неожиданным появлением сына. Только когда Сыдык-джан прошел во двор, она догадалась обнять его, расцеловала в обе щеки и поспешила справиться о здоровье внука, невестки и сватов. Сыдык-джан ответил на все вопросы матери, как того требовал обычай, и сам в свою очередь спросил о ее здоровье. Абиджан, занятый обрезкой листьев для шелковичных червей, стрелой скользнул между ветвей тут, с разбегу повис на шее Сыдык-джана и так громко крикнул: „Братец!“, что петух, прикорнувший в дальнем углу двора, тревожно закудаhtал.

Тетушка Ходича, подробно рассказывая Сыдык-джану о том, как она недавно видела его во сне и как с тех пор не переставала думать о нем, разостлала на супе¹ палас, разожгла очаг, поставила на него кумган² для чая, потом снова справилась о здоровье невестки, внука и сватов. Абиджан сидел около брата и, не зная, что сказать и как вести себя, время от времени трогал его за плечо и радостно улыбался.

Сыдык-джан окинул взглядом тонущие в сумраке двор, хибарку. Двор, будто, стал теснее, стены ниже, а хибарка больше ушла в землю. И казалось, что и двор, и стены, и хибарка смотрят на него безнадежно печально. И, будто, говорят: „Видишь, до чего мы дошли!“

Пока вскипел чай, тетушка Ходича успела рассказать обо всех больших и малых событиях, какие произошли в кишлаке за последнее время. Оказалось, что жена Юнус-али родила тройню, и об этом было напечатано в газете; сын Балтабая забрал отца с матерью в Ташкент; в кишлак недавно приезжал сам Ахунбабаев...

— Ахунбабаев оказался совсем не похожим на свои портреты,— сказала тетушка Ходича, высыпая на дастархан джиду.

— Почему, очень похож,— нашелся, наконец, что сказать Абиджан.

— Лицом похож, а сам вовсе не похож,— не сдавалась тетушка Ходича и продолжала:— Передавали, что он собрание будет проводить, речь говорить. Пошли мы все. Приходим, а в красной чайхане много народу, шутки, смех. „Наверное, не приехал еще“,— думаем, а оказалось, что шутил и смешил всех сам Ахунбабаев. Бой-бо, такой большой человек!.. Так ни собрания он не проводил, ни речи не говорил. Посоветовал, как наладить колхоз, побеседовал, потом людей здешних стал спрашивать.

¹ Супа — глиняное возвышение в саду или во дворе.

² Кумган — чугунный или медный кувшин для кипячения воды.

Абиджан не вытерпел и рассмеялся так, будто его кто пощекотал:

— Саттар-кула-ака здорово он поддел, — восторженно проговорил он.

— Да-да, раис¹ он здорово поддел, — подтвердила тетушка Ходича. — Вышел Саттар-кул и говорит: „Мы так собираемся сделать, мы этак собираемся сделать“, а он ему: „Яловая корова, — говорит, — всегда больше всех мычит“. И все тут так рассмеялись, а Саттар-кул так застыдился!.. Нет, дела в колхозе в этом году неплохие. Саттар-кул крепко взнуздal весну.. Да, а что же ты про червей не спросишь.. Собрал как-то Саттар-кул всех стариков, старух и говорит: „Кто без дела, — говорят, — тот и богу противен, взяли бы вы хоть по коробочке червей“. Все согласились. Что поделаешь! „От мужа, — говорят, — отстала — отставай, а от народа никак нельзя отставать“, — вместе с другими согласилась и я. Собрались мы семь человек и взяли четыре коробки. И никакой трудности, оказывается, нет, а напротив — забава, можно было бы не четыре, а пять коробок взять. Я теперь только за червями и хожу, а прочими делами Абиджан занимается. Саттар-кул справил ему пару хороших сапог. Иди, сынок, вынеси сапоги, пусть брат посмотрит.

Абиджан уже давно принес сапоги и теперь осторожно, словно они были из тонкого стекла, обтер их полой яхтака², подал Сыдык-джану и подвернул фитиль чирака. Сыдык-джан поднес сапоги к свету. Абиджану очень хотелось, чтобы брат перевернул сапоги и ногтем бы постучал по подошве — такая она была гладкая и прочная, но Сыдык-джан ограничился тем, что осмотрел верх, мельком заглянул внутрь и отложил сапоги в сторону.

Большая радость, какую испытывали мать и братишка из-за одной только пары простых сапог, снова раздула в душе Сыдык-джана уголек недовольства собой, уже начавший было с уходом его из дома Зуннуна-ходжи покрываться тонким слоем пепла. Не прошло и минуты, как недовольство это перешло в раздражение. Тетушка Ходича подумала, что сын устал с дороги, и заторопилась с постелью.

На утро, услышав о приходе Сыдык-джана, пришли проведать и поглядеть на него подружки тетушки Ходичи. Все старухи были бодрые, довольные и, не подставь обличью и уже горбившимся спинам, даже, пожалуй, чересчур веселые и словоохотливые. Уход за шелковичными червями, видно, напомнил им молодые годы. Когда речь зашла о том, что Сыдык-джан редко бывает в своем кишлаке, одна из старух тоном, который больше подходил какой-нибудь озорной молодке, пошутила:

— Наш Сыдык-джан не жену себе взял, а сам замуж вышел, потому и боится отлучаться из дома.

¹ Раис — председатель

² Яхтак — тонкий халат без подкладки.

Сыдык-джану, у которого еще не прошло вчерашнее раздражение и которому очень не по душе была болтовня старух, шутка эта показалась очень и очень обидной. „Подохнуть тебе, а не озоровать на старости!“ — подумал он с досадой.

Под вечер пришли товарищи и друзья детства. Но Сыдык-джан с ними не смог разговаривать: он чувствовал себя перед ними жалким и беспомощным и готов был провалиться сквозь землю. К тому же и они все говорили с ним так, словно пришли не друга повидать, а проведать человека, на голову которого обрушилось большое несчастье, и разделить с ним его горе.

После того, как друзья разошлись, пришел председатель колхоза Саттар-кул. Сыдык-джан не видал его около двух лет. Поздоровавшись с Сыдык-джаном и справившись о его здоровье, Саттар-кул осмотрел червей и, довольный, обратился к старухе:

— Считайте, старая, что баран в ваших руках. Вы его получите не позже того дня, в который завершите дело! — сказал он и, обернувшись к Сыдык-джану, пояснил: — Она первой в районе сдаст коконы. Обязательно!

Тетушка Ходича, чтобы скрыть радость, какую доставило ей обещание Саттар-кула, попыталась повернуть разговор на другое.

— А вы у других, у соседей, смотрели червей? — спросила она и, не ожидая ответа, так как хорошо знала, что председатель смотрел их, поспешила к очагу. Саттар-кул понял, почему тетушка Ходича заговорила об остальных червях, но все же счел нужным ответить ей.

— Всех осмотрел, и не один, а вместе с человеком из района, — сказал он.

Тетушка Ходича старательно раздувала в очаге огонь.

— Так, Сыдык-джан, — заговорил Саттар-кул, усаживаясь на стул, — как у тебя дела? Ты совсем не бываешь здесь... Приехал бы с семьей. Можно быть приемным зятем, но надо же и меру знать! Ты и для нашего кишлака очень подходишь.

— Побываем как-нибудь... — пробормотал Сыдык-джан, старательно сжеживая в пиалу остатки чая.

— Когда же? Что, жена не желает? А ты ей скажи: „Ты мне жена, но не забывай, что там моя мать, которая вырастила меня до поры, когда я в женихи стал годиться“.

Сыдык-джан понял эти слова так: „Мать тебя вырастила, а что она от тебя видела?“ — и вся кровь бросилась ему в голову, даже уши, будто пламенем, загорелись. Саттар-кул, видно, заметил это.

— Я этим не хочу сказать, что мать твоя в нужде живет, — проговорил он, — но были и такие времена, когда она в самом деле нуждалась. Сам знаешь, — первое время, когда организовался колхоз, колхозные дела шли так, как человек в деревенных капишах. Много тогда трудностей перенести пришлось. К тому же и братишка твой мал еще был. А теперь, сам видишь, уже не то. „Хоть и рябая, зато девица, хоть и далеко, зато дорога

хорошая“, — говорят. Теперь, кстати, и братишка твой подрос. Да сейчас и без него мать твоя нуждаться не будет: в колхозе — по одной лепешке соберем, и то ей на месяц хватит. Речь не об этом. Коль суждено было найти там тебе счастье, ты бы за десять-двенадцать лет уже нашел его. Или я не так говорю?

Сыдык-джану очень хотелось рассказать, что он в последнее время уже осознал свое положение, что он жалеет о прожитых годах и потому, покинув семью, сейчас собирается строить жизнь заново, но у него не хватило смелости. Слова Саттар-кула: „Первое время колхозные дела шли так, как ходит человек в деревянных капишах, много трудностей пришлось перенести нам“ Сыдык-джан понял так: „Мы не легко добились хорошей жизни“. „Если сейчас сказать, что я прибыл сюда совсем, — подумал Сыдык-джан, — это будет понято как — „принимай меня в свой колхоз“ и явится потом причиной для упреков: „В жатву не был, в молотьбу не был, а на току — тут как тут“.

— По-моему, — продолжал Саттар-кул, — сейчас тебе баем становиться, как говорят, топора нет, нищим становиться — сумы нет.

Сыдык-джан усмехнулся.

— Что же мне, в колхоз вступать?

Если бы Саттар-кул сказал: „Вступай“, Сыдык-джан поделился бы с ним своими сомнениями, но Саттар-кул понял его усмешку по-другому.

— Я не собираюсь тебя в колхоз уговаривать, — сказал он. — Уговоры нужны были тогда, когда мы только начинали дело, когда люди, как пугливый конь, боялись всего нового.

Саттар-кул и после ужина сидел еще долго, но разговор все время шел о другом. „Еще будет время, поговорю“, — решил про себя Сыдык-джан.

Саттар-кул ушел.

Ночью Сыдык-джан долго думал и никак не мог представить себе, что он вступил в колхоз. Ему казалось, что все, даже друзья-приятели, будут смотреть на него как на „бакаула¹, объявившегося к готовому плову“. В конце-концов, не считая удобным долго задерживаться в кишлаке, он решил поскорей куда-нибудь отправиться отсюда и утром, за завтраком, рассказав матери коротко о размовке с тестем, поведал ей о своем намерении уйти от семьи.

У тетушки Ходичи даже платок с головы свалился от неожиданности.

— Сынок мой, родной сынок мой! — проговорила она, судорожно сглотнув чай. — Зачем ты так поступаешь? Не поддавайся наущению шайтана, не делай сына твоего сиротой при своей жизни. Как бы ни было трудно, ради ребенка перенеси все. Потом этот долг сторицей будет возвращен тебе твоим сыном.

¹ Бакаул — стольник.

— Я хочу сначала расплатиться со своим долгом, а потом уже другим в долг давать.

— Что ты этим хочешь сказать?

— С вами хочу прежде расплатиться.

— Мне ничего не надо, сынок, я довольна. Если ты ради меня такое дело задумал, я не могу дать на это своего согласия. Я теперь, что солнце перед закатом, запевившееся за верхушку тополя: сейчас я есть, а через минуту — нет меня. Не на меня, а на сына своего глядя, дела свои устраивай. Я уже к табу¹ приближаюсь, а сын твой только из зыбки выбирается. Сынок, родной мой! Пусть я в могиле буду спокойно лежать. Душа моя пусть не тоскует над развалинами твоего дома. Если ради счастья твоего дома на глазу моем мельничный жернов вертеть надо, верти..

С улицы вдруг открылась калитка и во двор вошел задыхающийся от быстрой ходьбы Зуннун-ходжа. Низко опустив голову, Сыдык-джан остался сидеть на супе. Тетушка Ходича побежала навстречу свату, но Зуннун-ходжа, словно помешанный, не обращая на нее внимания, прошел прямо к Сыдык-джану.

— Дом свой подожгу! Повешусь!.. Сын, родной мой, разве я для этого назвал вас своим сыном?

Сыдык-джан поднялся и пригласил тестя на супу:

— Пожалуйте!..

— Нет, нет, сын! Идем домой, довольно! Довольно!

Подняв голову, Сыдык-джан взглянул на мать, стоявшую позади Зуннуна-ходжи. Та настойчиво подавала ему знаки: „Соглашайся, возвращайся!“ Сыдык-джан опустил глаза.

— Разве теперь можно, отец? Нет, нет.. по шарпату не положено так, — сказал он.

— Можно, можно! Есть выход. Троекратный развод вы не ей заявили, а мне. Если бы вы ей самой сказали, тогда это было бы в счет!

Тут вмешалась тетушка Ходича. Вдвоем с Зуннун-ходжей они и рта не давали раскрыть Сыдык-джану. Наконец Сыдык-джан согласился вернуться, только не сразу, а дня через два-три.

Зуннун-ходжа ушел успокоенный.

Когда Зуннун-ходжа вышел, Сыдык-джан подробно рассказал матери обо всем с самого начала. Рассказал он и о том, как ему сейчас стыдно перед товарищами. Тетушка Ходича понимала, как тяжело сыну, но она никак не могла согласиться с его намерением покинуть семью. Она долго плакала.

— Ну, хорошо, сынок, делай, как хочешь, — проговорила она наконец.

— Видно, тринадцать лет назад, когда я отправлялся отсюда, вы не пожелали мне, как следует, доброго пути, мама. Вот и вернулся я, испытав столько мук. Я вижу теперь, как прошла моя жизнь. Вы тоже это видите. Пожелайте же мне доброго пути..

¹ Табут — носилки, на которых отнесут мертвых на кладбище.

Сыдык-джан хотел еще что-то сказать, но к горлу его подступили слезы, и он низко опустил голову. Тетушка Ходича заметила это и, стараясь приободрить сына, сдержала себя, чтобы не расплакаться.

— Хорошо, куда же ты пойдешь?

Чтобы успокоить мать, Сыдык-джан сказал:

— Ясно, куда же мне больше идти...

Тетушке Ходиче очень хотелось, чтобы он остался с ней и работал бы в колхозе, но, так как Сыдык-джан сам на этот счет ничего не сказал, она промолчала. Сейчас предлагать ему остаться в колхозе, значило бы давать согласие на развод его с женой.

Собравшись около полудня, Сыдык-джан отправился в дорогу. Тетушка Ходича, как и тринадцать лет назад, завязала ему в пояс несколько лепешек, поцеловала в лоб, благословила. Загадав „на счастье“, она нарочно не пошла его провожать... Провожал его Абиджан. Абиджан ничего не знал о событиях, но он чувствовал, что сегодняшней уход брата чем-то отличается от прежнего, и потому, проводив Сыдык-джана до околицы кишлака, он распрощался с ним без слез.

Перевел с узбекского *Н. Ивашев*.

Продолжение следует.

М. ШЕЙХЗАДЭ

УЗБЕКСКОЕ МОРЕ

Пусть ни в одну географическую карту
Не вчерчены твоих границ черты,
И ни в одной из книг Узбекским морем
Не названо с заглавной буквы ты,

Для нас, для наших глаз—ты море, ты огромно,
Твою бескрайность не охватит взор.
Подобны мрамору твои тугие волны,
Твой влажный, твой лазоревый простор.

Любуюсь я твоей лазурью многоводной,
Тяжелых волн шумливой чередой...
Как сладок для степей, как благодатен
С твоей груди вспорхнувший ветер твой.

Любуюсь я широким синим морем...
Как животворно, как свежо оно.
В нем все. Оно шербет и мед душистый,
И молоко, и знойное вино.

Одна лишь капля—и цветку прозреньё.
Один глоток—и птица спасена.
Его арыками садам дано цветенье,
Его каналами пустыням жизнь дана.

В нем мощь десятков рек и мощь ручьев без счета,
В нем тысячи ликующих дождей.
Любуясь им, я в каждой капле вижу
Цветы бесценных хлопковых полей.

Любуясь им, я вижу караваны,
Везущие дары моей земли,
Я вижу изобильные хирманы,
Сады, что пышным цветом расцвели.

Водохранилище! По праву вдохновенья,
Я, как о море, о тебе пою.
Ты не соленое, ты сладостное море—
Что ж не воспеть мне благодать твою?

Чем ты не море? Вон в твоей лазури
Далекий челн скользит, как бы в мечтах.
Чем ты не море? Вот, резвясь под солнцем,
Цепочка рыб играет на волнах.

Чем ты не море? Ведь ночной порою
Весь звездный мир твоя вмещает гладь.
И юноши, и девушки выходят
Звезду любви в твоих волнах искать.

О море, море моего народа!
Мы будем ждать, когда пора придет,
И степи примут благостные воды,
И даст земля от всех своих щедрот.

Капта-Курганское водохранилище. 1946 г.

Перевел с узбекского В. Липко.

СОДЫК КАЛАНДАР

МЫ НА УРАЛЕ

Повесть

Продолжение.¹

Часть вторая¹

I

Это была самая обычная фронтовая ночь: холодное мутное небо время от времени вдруг оживало, освещаясь то справа, то слева, то прямо над головой вспышками трассирующих пуль или тусклым, далеким, долго не исчезающим заревом, или зеленой ракетой, взлетевшей, может быть, на расстоянии восьми-деяти километров, или разрывом снаряда там, где стояли немцы...

И тишина — обыкновенная ночная фронтовая тишина на несколько минут, а иногда на полчаса, на час, когда слышался лишь глухой далекий гул тяжелых орудий, — внезапно обрывалась резкой пулеметной очередью и автоматной трескотней, пронзительным визгом рвущихся позади мин да зловещим шипением снаряда, низко летевшего над головой, или басовитым рокотом ночного авиаразведчика...

Проходило время, стихала пулеметная стрельба, переставали бить минометы и пушки, улетал невидимый авиаразведчик и тогда опять становился видимым трепетный красноватый край неба на горизонте и слышался далекий орудийный гул...

В траншеях раздавался тихий говорок, иногда веселая солдатская шутка, смех, похрапывание, короткое шелканье магазинной коробки, вставленной в автомат, негромкая команда.

А вокруг, если приподнимется боец над бруствером и посмотрит, стелется серый сплошной снег, местами черный от перемешанной взрывами земли и пороховой копоти.

И далеко впереди, где чаще всего рвутся снаряды, виднеется темный и длинный массив — это лес, близ которого находятся немцы: минные поля, траншеи, блиндажи, дзоты...

Все было так же, как вчера, как могло быть завтра. Солдаты, пользуясь короткой передышкой, спали, курили, вспоминали семью, тепло, уют, любимую девушку. Прижав к себе автомат и

¹ См. „Звезда Востока“ № 10—11 и 12 1946 г.

неловко прислонившись плечом к стене траншеи, спал молодой безусый боец и светло улыбался чему-то во сне; тихо похранивал пожилой солдат, удобно положив голову на котелок и согнув в коленях ноги; прижавшись друг к другу плечом или спиной, спали тут же, в открытых траншеях, где иной раз падала за воротник мерзлая земля или зернистый комок снега, бойцы первого взвода. Здесь же группами в полотделения сидели бойцы, которым было приказано бодрствовать — сидеть, разговаривать, слушать как ведут себя немцы, но не спать; иные из них вполголоса разговаривали, другие набивали патронами круглые диски для ручных пулеметов; третьи сушили махорку в кисете над крохотной черной коптилкой, прикрытой сверху, как пологом, новой светонепроницаемой плащ-палаткой, чтобы не демаскировать окопы вражеским бомбардировщикам, хотя всякий раз, как только раздавалось слово: „Воздух!“, коптилку тушили и бросали курить. По траншеям ходили младшие командиры, вызывали по фамилии бойцов для смены постов, одним приказывали спать, других поднимали.

— Савельев!

— Я!

— Идите получать пароль. Оружие в порядке?

— Так точно, товарищ старший сержант! В порядке.

— За мной.

— ...Так вот, подумал тогда царь и говорит тому крестьянину: „Ну что ж, хорошо. Видать, ты, мужик, хитер. Хитер. Только найду я тебе такую загадку, которую ты не отгадаешь,— вполголоса рассказывал молодой боец, сидя перед своими товарищами на корточках и то приподнимаясь, то опять присаживаясь на пятки.— „Какая же это будет загадка?“ — спрашивает крестьянин. „А вот какая. Скажи,— говорит,— мне, сколько на небе звезд?“ Тот почесал у себя в бороде, посмотрел этак на царя и спокойно отвечает: „А я, ведь, говорит, знал, государь, что ты мне обязательно эту загадку скажешь. Видишь, говорит,— у меня на телеге сколько мешков с маком лежит?..“ — Боец свернул папироску, прикурил ее под плащ-палаткой и продолжал рассказ...

Сидя поодаль от рассказчика в глубине траншеи, Ботыр Сабиров по временам то рассеянно вслушивался в его голос, то, забываясь, опять думал о своем. „Действительно хитрый мужик,— мысленно рассуждал он, улыбаясь и заранее угадывая, что ответит сейчас крестьянин царю.— Сколько мешков с маком... Хитер... А сколько дней прошло с тех пор, как мы уехали из дому? А из Свердловска? А писем все нет, все нет... Вот уже и новый год прошел, и немцев от Москвы далеко прогнали... А где же письма?..“

Время от времени наблюдатель, стоявший в нескольких шагах от него, протяжно и негромко кричал: „Воздух!“ Солдаты тушили коптилку, бросали курить. В такую минуту Ботыр, забыв обо всем, о чем только что думал, внимательно осматривался вокруг (он был теперь помощником командира взвода в звании старшего сержанта). Не находя ничего заслуживающего замечания, он опять

откидывался спиной к стене траншеи и слушал, как звучал в темноте голос все того же рассказчика, видимо совершенно не обращавшего внимания на приближавшийся гул самолетов.

— Ходит мужик и удивляется: вот, думает, рай-то где. Розы цветут, магнолии... А у этих магнолий каждый цветок величиной вот с твою шапку-ушанку, — рассказывал красноармеец.

...Розы! Разве они были лучше, чем те, что цвели у нее в саду? И особенно в то далекое летнее утро! Как она сказала тогда, протянув ему на раскрытой ладони красный тугой бутон: „Это мое сердце. Отдаю его вам“. „Они будут рядом — твое и мое! Буду хранить его, как счастье, как тебя, как любовь твою, до последнего дыхания“, — ответил он.

Ботыр прикоснулся рукой к груди, где под шинелью в гимнастерке лежал бережно завернутый в бумагу, давно уже высохший бутон, и хотя под ладонью ничего не ощутил, ему стало легко и спокойно на сердце, точно сейчас он снова услышал ее слова: „Отдаю его вам“.

— Воздух! — прокричал опять наблюдатель, и Ботыр, мгновенно отпрянув от стены и поглядев на бойцов, уловил знакомый, множество раз слышанный им звук немецких бомбардировщиков, идущих, видимо, очень высоко, в полной темноте.

„Втыл к нам направились, шакалы“, — с гневом подумал он, все еще вслушиваясь в размеренный, звенящий шум моторов. „А фронт молчит.. Зенитчики! Что же вы молчите?“ — мысленно спрашивал Ботыр, чувствуя, как все внутри у него начинает дрожать и голова горит.

Несколько секунд еще длилась тишина, потом где-то сзади гулко лопнул пушечный выстрел. Слышно было, как снаряд, хлопая и будто захлебываясь, толчками пошел вверх и где-то там, в высоте, лопнул, разорвался; и едва раздался этот первый выстрел, как посыпались десятки и сотни таких же гулких звуков, которые уже в следующую секунду слились все вместе, и поднялся такой оглушительный грохот, что Ботыр обрадованно привстал на колени и посмотрел через бруствер. Сотни синих лучей, прямых, как кинжалы, пронзая холодную тьму, заметались по небу, то быстро скрещиваясь, то спокойно опять расходясь. Грохот орудий, пулеметная стрельба и напряженное, в прожекторах, небо, рассекаемое вдобавок множеством трассирующих пуль, летящих полудужьями и догоняющих одна другую, — все это ободрило и развеселило Ботыра.

„Вот это музыка!. Встретили... Молодцы зенитчики!“ — обрадованно подумал он и привалился опять спиной к стене траншеи. Почти никто из бойцов не обратил внимания на эту „музыку“. Только все тот же молодой боец, рассказывающий уже историю про школьника и тракториста, на секунду замолчал, потом сказал, очевидно про зенитчиков, с оттенком гордости в голосе:

— Это наши, ульяновские!

— А ты почему знаешь?

— Знаю.

— Ну, рассказывай дальше.

— Так вот...

Ботыр послушал его с минуту и подумал: „Хороший солдат... Веселый. А этот намучился, спит. И зениток не слышит“. Напротив него, обняв обеими руками винтовку и крепко прижавшись щекой к стене траншеи, сладко спал совсем еще молодой боец, только недавно прибывший сюда из тылового подразделения. „Спит... А я и спать не могу... Не могу забыть о ней даже в бою...“ И Ботыр вспомнил, как иногда, в самые жестокие минуты боя, когда забывалось все на свете, и в груди, во всем существе горело одно страстное, всепоглощающее чувство — гнев, страшный гнев на врага, звавший все вперед и вперед, в самую гущу огня, — даже в эти минуты перед ним на мгновение успевал промелькнуть образ: раннее утро, сад... кусты инжира и Туфахон с протянутой смуглой рукою, на которой лежит яркий тугой бутон.

В этот миг, неуловимо короткий миг, Ботыр вдруг испытывал страх за цветок, что он изменится, пропадет, и хотелось потрогать его рукой, здесь ли он, цел, невредим ли, но этого сделать было некогда, и Ботыр в то же мгновение опять про него забывал.

„Никогда... ни разу она не прижалась ко мне щекой... И я... Дурак... Я виноват в этом...“

— Сабиров! Ботыр Сабиров!

— Я!

Ботыр вскочил, инстинктивно отряхивая шинель и вытягиваясь по команде „смирно“. Перед ним стоял командир взвода младший лейтенант Силантьев.

— Почему не спишь? Опять не спишь! Когда же ты отдыхать будешь?

— Я немного дремал, товарищ младший лейтенант!

— Дремал? Обманываешь. Ничего ты не дремал.

Ботыр виновато смотрел на командира.

— Ну, вот что, — уже совсем другим тоном и негромко сказал Силантьев. — Пойди сюда.

И он тихо потянул его за рукав вглубь траншеи.

— Сейчас я был у командира батальона капитана Казакбая. Есть важное дело.

И он секунду помедлил, глядя Ботыру прямо в глаза.

— В разведку надо идти. Пойдешь?..

— Зачем вы спрашиваете, товарищ младший лейтенант!

— Но как же я возьму тебя, когда ты совсем не отдыхал? Поспать надо было хоть часа полтора. Куда же ты пойдешь?!

— Пойду. Я совсем не устал. И спать не хочу, товарищ младший лейтенант, — взмолился Ботыр. — Возьмите меня в разведку.

Силантьев глядел на него и даже в темноте видел, как загорелись его глаза.

— Ну, хорошо, старший сержант! Ладно. Возьму в разведку. Только помни: не спать, когда я приказал спать, — это нарушение дисциплины. Нарушение. Понял?..

— Понял.

— Вот так, А за нарушение я буду наказывать. Сейчас бери из своего отделения двух красноармейцев—Куприянова Николая и Ширмата Гулямова, — и быстро ко мне. Ясно?

— Ясно, товарищ младший лейтенант. Разрешите выполнять?

— Выполняй.

Ботыр поднял руку под козырек, повернулся кругом и мгновенно исчез.

Силантьев, вглядываясь в спящие лица бойцов, прошел несколько шагов, затем остановился и тихонько позвал одного из них, неловко прикорнувшего со своим автоматом у стены.

— Старший сержант! Вася! Старший сержант Фомин!

Тот что-то пробормотал сквозь сон, потом медленно открыл глаза, посмотрел на командира взвода и, видимо, узнав его, мигом вскочил на ноги.

— Я вас слушаю, товарищ младший лейтенант!

— Выспался?

— Так точно! Выспался.

— Если не выспался, потом доспишь. Я ухожу на выполнение ответственного задания. Помкомвзвод Сабиров идет со мной. Ты остаешься за командира взвода. Понял?

— Слушаюсь!

— Пройди по всем отделениям. С ручными пулеметчиками посиди. Появл? Посмотри, есть ли у них запасные диски. В любую секунду будь готовым. Смотри в оба, зри в три. Понял?..

— Все ясно, товарищ младший лейтенант! Пройти по всем отделениям. С ручными пулеметчиками посидеть. Посмотреть, есть ли у них запасные диски. В любую секунду быть готовым. Глядеть в оба, смотреть в три,—четко повторил он приказания командира и слегка улыбнулся при последней фразе, вероятно потому, что сказал ее несколько иначе.

— Разбуди Иванова и Бутько из третьего отделения. Чтобы с гранатами и автоматами через три минуты были у меня.

Старший сержант, козырнув, ушел выполнять приказание.

Через три минуты перед командиром взвода стояли пятеро солдат в белых маскировочных халатах, с гранатами и автоматами у пояса. Командир обвел всех строгим внимательным взором, проверил у каждого автомат и спросил сердито:

— Все в порядке?

— Все в порядке, товарищ младший лейтенант! — четко ответили они в один голос.

— Идем в разведку. Дело опасное, но для нас знакомое. Никто не трусит?..

— Нет.

— Таких нету.

— Самое хорошее дело в разведку ходить. Кто же откажется?—весело и негромко сказал Бутько.

Маленький, юркий, в маскировочном халате он на белом снегу даже днем становился совершенно незаметным.

— Тогда слушайте задачу!

Район был лесистый. В сосновой роще глубоким слоем лежал снег. Разведчики, остерегаясь вражеских „кукушек“, двигались совершенно бесшумно один за другим, длинной шеренгой, по временам по пояс проваливаясь в снег. Когда, наконец, они достигли опушки, Силантьев присел на корточки и долго всматривался сначала в одну, потом в другую сторону. Затем он поднялся на ноги, повернулся к бойцам и тихо сказал:

— Ботыр, Николай и Ширмат — левый фланг опушки. Иванов, Бутько — за мной.

Через минуту младший лейтенант уже потерял Ботыра из виду.

Некоторое время Силантьев двигался со своими бойцами еще в полный рост, затем, достигнув широкой открытой поляны, он лег вниз лицом и продолжал двигаться ползком по снегу, стараясь, чтоб снег не скрипел под ним. Он не оглядывался на Иванова и Бутько, зная, что они делают все так же, как делает он.

Но ползти было трудно, под снегом то и дело встречались большие пни, которые надо было либо обходить, либо переползать так, чтоб не сделать лишнего и неосторожного движения. Силантьев поминутно зарывался лицом в снег, и лицо все было мокро от воды и от пота. Он видел, как от лица его идет пар.

За поляной, по которой надо было еще продвинуться метров сто, проходила речка, а за ней, на другом берегу, начинался передний край противника.

Миновав эти последние сто метров и благополучно выбравшись на другой берег реки, Силантьев вдруг совсем близко услышал немецкую речь. Он подождал, пока Иванов и Бутько подползли к нему ближе и, подняв вверх указательный палец, молча заставил их прислушаться.

Но не успели бойцы обменяться взглядами, как голоса немцев внезапно умолкли и через секунду кто-то крикнул из темноты по-немецки, громко и раздраженно:

— Вер ист эс?.. ¹⁾

Все трое замерли на снегу, лежа на некотором расстоянии друг от друга.

Немец что-то сказал потише, но уже тоном приказа, очевидно, обращаясь к кому-то из своих подчиненных, и в ту же секунду тишину разорвала длинная пулеметная очередь. Еще секунду спустя в размеренный строчащий звук пулемета вплелись автоматные очереди, и вся окрестность откликнулась гулким отчетливым эхом.

„Вот за это молодцы“, — подумал Силантьев, прячась с головой в снег. „Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не выдали бы мы себя, так они бы и стрельбы не начали, и нам пришлось бы ползти еще чорт знает сколько. А теперь.. вот они,

¹⁾ Кто там

начали... Сейчас все окрестные посты и пулеметные гнезда стрельбу откроют, и мне ничего не стоит скорректировать их огонь. И ползти не надо. А главное Ботыру действовать сейчас удобно. Мы на себя все их внимание привлекли."

* * *

Ботыр, отделившись со своей группой от командира взвода, обошел опушку с левого фланга и, выйдя на ту же открытую поляну, полз на расстоянии трехсот метров от Силантьева. Благополучно переправившись через речку и углубившись по тому же направлению еще метров на пятьдесят, рискуя напороться прямо на немецкие землянки и блиндажи, он вдруг круто повернул вправо, прошел несколько десятков метров и снова повернул направо, имея перед мысленным взором тот ориентир, на который ему указал на карте командир взвода и приближение которого он узнавал по некоторым признакам, попадавшим ему на пути и упомянутым Силантьевым во время объяснения задачи. Таким образом Ботыр двигался сейчас обратно к речке, только на несколько сот метров правее того места, где он ее пересек. Он стал делать частые передышки, необходимые для того, чтобы взглядеться вперед и прислушаться. Достигнув старого разрушенного сарая, он заметил за ним несколько поваленных и запорошенных снегом сосен и вспомнил тотчас же, как ему говорил младший лейтенант:

— Здесь будь особенно осторожен. Где-то в этом районе находится у них пулеметный расчет, с которого надо взять "языка".

Расположение вражеского окопа, к которому Ботыр и Силантьев двигались с разных направлений, они знали неточно. Однако именно отсюда Казакбай почему-то и приказал взять "языка", а другие посты только разведать. "Вероятно, через несколько часов, перед рассветом,—подумал Ботыр,—предполагается атака".

Из-за угла разрушенного сарайчика Ботыр начал было всматриваться вперед, туда, где лежали толстые сосны, как вдруг спокойный немецкий голос, а вслед за тем окрик и внезапная стрельба, раздавшиеся за этими соснами, на мгновение ошеломили Ботыра. Он инстинктивно взялся за автомат, потом, секунду спустя, вытащил из кармана гранату. Но едва он это сделал, как тотчас же понял, что сейчас можно действовать иначе, и снова спрятал гранату в карман. Он понял, что немцы бьют теперь по группе Силантьева, и все внимание их, особенно в первую минуту, приковано к той стороне.

Он поглядел на своих товарищей, вынул из другого кармана большой синий платок, показал им его, быстро и бесшумно прополз еще несколько метров по снегу и вдруг, встав во весь рост, делая огромные прыжки, бросился вперед..

И вот именно этот последний, самый опасный и ответственный момент как-то всегда плохо запоминается. Уже потом, рас-

сказывая бойцам про этот случай, Ботыр вспоминал лишь отдельные мгновенья; в то время, когда немцы, услышав хруст снега с другой стороны, хотели было повернуть пулемет, Куприянов, одним прыжком обогнав Ботыра и очутившись впереди его, успел стукнуть первого немца прикладом по голове. И, кажется, это произошло одновременно: Ботыр схватил другого за горло и начал душить его и толкать ему в рот скомканный синий платок, а Ширмат выбил у третьего из рук пистолет и тоже начал возиться с ним позади Ботыра. До сознания его дошло ощущение того, что творилось вокруг: стрельба не просто умолкла, как это бывало раньше, в „нормальном“ бою, а будто задохнулась, смялась, точно придавленная внезапно обрушившимся на нее тяжелым обвалом, и Ботыр уже слышал рядом с собой прерывистые тихие голсса Силантьева и Бутько:

— Крепче стягивай... Крепче!..

— Да я и так... крепко... товариш... младший... лейтенант. Не давайте ему кусаться.

Где-то в стороне еще несколько минут раздавалась стрельба, потом все стихло. Видимо, там подумали, что на посту ничего существенного не произошло.

* * *

Они вошли в траншею с веселыми возгласами, шумно отряхивая с себя снег и небрежно опустили на пол что-то грузное, завернутое в мешки.

— Приехали с орехами, — сказал Бутько и, ни секунды не медля, начал стаскивать мешки с того, что лежало на полу. Когда он один за другим стащил по два мешка сначала с одного куля, неподвижно лежавшего на дне траншеи, потом с другого, глазам столпившихся бойцов представились два дюжих немца со скрученными руками и ногами и с завязанными глазами. Бутько снял с них повязки, развязал ноги и руки, но немцы все продолжали лежать с закрытыми глазами.

— Вставай, приехали! — крикнул по-немецки младший лейтенант и толкнул одного из них ногой в бок. Немцы испуганно заморгали глазами, но все еще лежали не шевелясь.

Силантьев посмотрел на бойцов и жестом показал, что надо сделать. Бойцы подвняли их и поставили на ноги.

— Хватит лежать! Не отдыхать же мы волокли вас сюда, — сказал Ширмат и длинно и витиевато выругался.

Немцы стояли, вытянув руки по швам и тараща глаза. Ноги у них были обмотаны тряпьем и кусками старой бараньей шубы, на шее того и другого, наполовину развязанные, мотались женские платья.

— Посмотрите-ка, на что похожи воинственные рыцари, — усмехнувшись, сказал один из бойцов, немного откинувшись назад и словно любуясь этими пугалами.

— Ну, хорошо. Вы, ребята, идите спать, — сказал младший лейтенант, обращаясь к стоявшим тут же разведчикам. — Я сам отведу пленных к капитану. Если будете нужны, пришло за вами связиста. Идите, отдохайте. А вы, — обратился он к остальным, — проверьте свою боевую готовность.

Командир взвода, видимо, еще что-то хотел сказать, и бойцы ждали этого, потому что никто из них не успел сделать и одного шага, когда позади вдруг послышались голоса, приветствия и среди красноармейцев почувствовалась та бодрость и оживление, которые всегда появляются, когда среди них присутствует старший любимый командир.

— Здравствуйте, товарищи!

Красноармейцы дружно, в один голос, ответили:

— Здравствуйте, товарищ капитан!

В траншею вошел командир батальона капитан Казакбай. Сопровождаемый ординарцем-автоматчиком, он был все в той же длинной кавалерийской шинели, перетянутой крест-накрест портупьями.

— Притащили отпрысков тевтонских рыцарей? — сказал он, проходя по траншее и даже не взглянув на немцев, точно это были не фрицы, а два обыкновенных чурбака.

Младший лейтенант Силантьев двинулся вслед за ним. Уйдя за поворот траншеи, Казакбай остановился и крепко пожал руку Силантьеву.

— Поздравляю с успехом! — сказал он негромко. — Все выполнили, что я приказывал?

— Так точно, товарищ капитан!

— Тогда идемте ко мне в блиндаж. Времени терять нельзя ни минуты. Атака назначена в половине пятого.

И командир батальона большими быстрыми шагами направился было к себе в блиндаж, но вдруг приостановился и спросил:

— Да, чуть не забыл. Ботыра Сабирова брал с собой в разведку?

— Брал.

— Где он сейчас?

— Здесь, товарищ капитан!

— Позовите сюда.

Силантьев исчез и через две секунды стоял перед капитаном уже вместе с Ботыром.

— Старший сержант Сабиров по вашему приказанию прибыл!

Сабиров четко козырнул и встал по команде „смирно“.

— Ладно, не нужно. Вольно, — сказал капитан. — В разведку сейчас ходил?

— Ходил.

— Один фриц твой, что ли?..

Ботыр стоял, ничего не отвечая.

— Его. Ефрейтор его, — ответил за Ботыра Силантьев.

— Ну, хорошо. Когда освобожусь, вызову тебя к себе. Только сегодня, должно быть, уж некогда будет. Завтра! — сказал он

Ботыру все также по-русски и вдруг неожиданно мягко спросил на родном языке:

— А что, писем из дому все еще не получал?

Казакбай помолчал секунду, глядя на Ботыра, затем вдруг быстро вынул из кармана два письма и радостно сказал уже снова по-русски:

— На! Это тебе награда за сегодняшний подвиг. А еще будет другая. Я доложу о тебе командиру полка.

Ботыр взял письма и, не спуская глаз с командира батальона, стал одной рукой зачем-то щупать стенку траншеи.

— Спасибо, товарищ капитан! — сказал он так тихо, точно губы его внезапно сковала какая-то сила.

Затем, видимо овладев собой, он снова встал по команде «смирно» и четко спросил:

— Разрешите быть свободным?

— Да.

И обращаясь уже к командиру взвода, капитан добавил:

— Прикажите, пусть приведут фрицев ко мне в блиндаж.

* * *

В третий или в четвертый раз он перечитывал оба письма. Одно было еще из Узбекистана, а второе уже из Свердловска, с Урала.

Такая буря мыслей и чувств захватила Ботыра, что он сидел, ничего не слыша, не видя и совершенно забыв об окружающем. Ему то представлялся Узбекистан — солнечный, цветущий, ласковый, весь в зелени и белых заносах хлопка на хирманах, то родной колхоз с тучным урожаем дынь, арбузов и яблок и груш и персиков в садах, и здесь же, среди всего этого обилия, возникали знакомые любимые лица матери, отца, Хайри-апа, Нормат-ата, Джалилова, а потом снова и снова вставало перед ним то утро, когда он стоял с ней в саду, за кустами инжира. Потом почему-то возникал перед глазами не тот шумный веселый вечер, когда их провожали в Красную Армию, а обыкновенный буднич- ный день, большой карагач посреди колхозного двора, просторная суфа, застеленная туркменским ковром, пиала душистого крепкого чая.

И странно, какие бы картины сейчас ни рисовались перед ним, он все время видел ни на мгновение не исчезающий образ Туфакон. Она стояла перед ним ласковая, улыбающаяся, то в ярком атласном платье и красной бархатной жакеточке, какой он видел ее в последний раз перед своим отъездом, то в рабочем синем комбинезоне у станка, какой он ее никогда еще не видел.

„Решилась... Приехала на Урал... На такой шаг решилась... И все это ради меня, чтобы ко мне быть ближе ...Помогать родине, работать на заводе.“ „...Я теперь работаю на военном заводе...“ — улыбаясь, мысленно повторял он опять фразу из ее

письма. „А я еще мучился, сомневался, думал, что она не любит меня... Забыла...“, — думал Ботыр и неизвестно сколько бы он просидел ещё под этой плащ-палаткой, если б в траншее внезапно не началось то приглушенное, нервное, молчаливое движение, с редкими возгласами команды и тихим лязгом оружия, какое обычно возникало ночью, после сна, за десять минут до атаки.

— Где Сабиров? Спит? — спрашивал у кого-то командир взвода Силантьев. — Разбудите его.

— Здесь я, товарищ младший лейтенант! — отозвался Ботыр, торопливо пряча письма в карман и подходя к Силантьеву.

— Вот хорошо. Поднимай взвод. У каждого солдата проверь оружие и наличие гранат. Через десять минут атака.

— Атака!.. Атака... — сжимая кулаки, произнес Ботыр таким тоном, точно это была сейчас для него совершенно новая, неизвестная и неожиданная радость.

II

Разгром немецких войск под Москвой обрадовал и ободрил советских людей. Народ, гордясь своей армией, могуществом родины, работал еще с большим вдохновением, стараясь отдать все силы на то, чтобы помочь фронту быстрее разгромить врага. Строил ли он на военных заводах танки, самолеты, пушки, сеял ли хлеб на полях или убирал хлопок, добывал ли нефть, руду, трудился ли в научных лабораториях или за письменным столом, вязал ли варежки для солдат или шил для них сапоги, шинели, шапки-ушанки, — он делал это с любовью, еще неизвестной людям земли, потому что ему дорога была Советская Родина, которая была в опасности.

Этим единым стремлением — защищать Родину, как мать, загородить ее своей грудью, отстоять от врага — были полны уральцы, которые трудились с такой же доблестью, как люди далекого севера, знойной Туркмении, мужественного Кавказа. Туда, на Урал, продолжали прибывать эшелоны трудармейцев, которые должны были помочь уральцам восстановить и пустить в эксплуатацию сотни крупных и мелких предприятий, эвакуированных из западных районов страны.

С конца марта на уральских предприятиях и стройках развернулось предмайское социалистическое соревнование.

Весеннее солнце начинало улыбаться все светлее. По утрам улицы Свердловска были запружены людьми, спешащими к себе на завод, к конвейеру, к станку, на строительную площадку: шли сталевары, котельщики, токари, электросварщики, слесари, кузнецы, инженеры, шли каменщики, стекольщики, плотники, кровельщики, прорабы, шли русские, узбеки, татары, киргизы, туркмены, казахи, шли молодые и старые, женщины и мужчины, все в одинаковых синих фуфайках, меховых рукавицах и валенках, шли веселой нескончаемой вереницей, как одна дружная семья, оживленно разговаривая, посмеиваясь и перекликаясь.

— А-а, Шодмон-палван, Халил! Ассалом алейкум! Где это вы пропадаете? Я уж вас дня три не видел, — приветствовал однажды утром своих земляков один из трудармейцев, невысокий пожилой узбек, тот самый, что в первый день приезда писал в бараке письмо, когда Шодмон-палван с Халилом расклеивали там плакаты и лозунги.

— Ва алейкум ассалом! Здравствуйте, Мамат-ака! Много лет вам жизни и доброго здоровья! — отвечали ему оба друга. — Когда же вам видеть нас? Мы работаем сейчас на строительной площадке по шестнадцать часов в сутки. Не зря нашу бригаду называют фронтовой. Ночью мы приходим в барак, вы уже спите, утром встаем, вы еще тоже спите. Когда же вам видеть нас?! — громко добавил Шодмон-палван, искоса и весело подмаргивая своему другу.

— Вы разве не слышали, Мамат-ака, о социалистическом соревновании? — спросил его, в свою очередь, Халил. — Теперь все так работают.

— Почему же не слышал? Слышал я. Сам работаю. Тоже включился в соревнование. Посмотрел на своих земляков, они по четыре да по пять норм вырабатывают за день, а я все отстаю от них. Вот и включился в соревнование. — Он помолчал и, смущенно почесав рукавицей у себя за ухом, добавил: — А еще ведь, друзья, вот что... Кто хорошо работает, питание получает улучшенное.

— А как же вы думали, Мамат-ака? Сейчас война, каждый паек на учете.

— Все на учете, — поддержал Халила Шодмон-палван. — А глядите, как нас одели да обули. — Он похлопал рукавицами и раза два притопнул ногами, обутыми в серые добротные валенки. — Ну, скажи, Мамат, плохо разве о нас государство заботится?! Где ты видел, брат мой, чтобы человеку, прежде чем он работает, выдавали одежду и обувь? Даже у тебя в колхозе и то, пока ты не заработаешь на трудовни, ничего не получишь. А мы вот когда еще только приехали сюда, палец о палец не успели ударить, а нам уже выдали теплое обмундирование, хорошую постель, жилище. Кормить стали лучше, чем даже в дороге, будто мы все это заслужили. Верно ведь я говорю, брат мой?

— Верно, верно, — подтвердил Мамат-ака.

Минут через пять они подошли к воротам завода. В проходной будке толкалось человек восемь трудармейцев, которые без пропусков не могли попасть на территорию завода: у одних пропуск был утерян, у других, как они говорили, забыт в тумбочке, под хлебом. Но вахтёр, строгий молодой красноармеец в полущубке и низких, подвернутых под коленями валенках, никого из них не хотел признавать.

— Вас здесь тысячи. Разве я всех запомню, — говорил он сердито. — А теперь, сами понимаете, война, время тревожное, всякий человек под видом рабочего может на завод пробраться.

Одним словом — нельзя без пропуска. Нельзя! — подчеркнул он строго.

В это время дверь отворилась и вошел Умар. Шодмон-палван, на минутку было задержавшийся с Халилом из любопытства и хотевший уже пристыдить своих земляков за халатность, вдруг застеснялся, увидев Умара, и, по-дружески тепло поздоровавшись с ним, прошел с Халилом на территорию завода. Умар, выяснив в чем дело, позвонил по цехам, попросил начальников подойти к проходной и взять своих рабочих, явившихся на завод без пропусков.

— Среди них большинство старательные люди, любящие свою работу и действительно утеревшие пропуск, но есть и такие, которые только того и ждут, чтобы их не допустили к работе, лишь бы иметь оправдание и потом целый день гонять лодыря и сидеть в бараке с пиалой чая, — сказал Умар под конец.

Когда он вешал на телефон трубку, знакомый девичий голос весело приветствовал его на родном языке:

— Салом, Умарджон-ака! Салом!

Умар оглянулся и увидел Туфахон. В теплой короткой фуфайке с меховыми оторочками вокруг шеи и по бортам, в белых красивых рукавицах и маленьких серых валенках, раскрасневшаяся от ходьбы и мороза, она всем своим жизнерадостным видом напоминала веселую спортсменку.

— Салом! Джоним! Туфахон! — почему-то вдруг растерявшись и слегка улыбаясь, отвечал Умар. — Вы так раскраснелись с мороза... Так хорошо... То-есть, ну... Вы, должно быть, боялись опоздать на работу?..

— Да, торопилась. Я немного задержалась дома. Три письма получила вчера, — добавила она восторженно и тихо, глядя на него и на мгновение широко открывая глаза. — Одно из дому, а два от него. Ой, какие хорошие письма. Я так счастлива, Умарджон-ака.

— А я рад за вас. Значит, теперь спокойнее будете работать.

— Да, спокойнее, — отвечала она, улыбаясь. — Вы к нам в цех зайдете? Я ведь сейчас уже сама за станком работаю. Только Иван Павлович еще не совсем доверяет мне, все время почти стоит рядом. Но зато на электрокаре я самостоятельно управляюсь.

— Как на электрокаре? На каком? — изумился Умар.

— На электрокаре! На хорошем. Новеньком, — сказала она с некоторой гордостью и вдруг воскликнула: — О, Умарджон-ака, мы с вами так давно не виделись... Ведь я еще одну профессию освоила. Я сначала не хотела вам говорить об этом, думала, что вы не одобрите меня.

— Но ...постой! Неужели это ты серьезно?.. — вконец ошеломленный, растерянно сказал Умар, опять, как когда-то во время первого длинного разговора, когда они сидели в бараке, называя ее на ты и, повидимому, совершенно не замечая этого.

— Да, серьезно, Умарджон-ака. Я две профессии осваиваю. Восемь часов за токарным станком работаю, а потом четыре часа на электрокаре, грузы перетаскиваю.

— Вот за это уж действительно молодец, девушка, — сказал Умар, с восхищением глядя на нее.

— Иван Павлович и то говорит — молодец. А он человек очень требовательный, а мастер... мастер... я не знаю, может быть и нет больше на заводе таких мастеров?.. Так вы зайдете, Умарджон-ака?..

— Зайду. Обязательно зайду.

Туфахон достала из кармана фуфайки пропуск и бирку, весело кивнула Умару и скрылась за дверью.

* * *

Когда Умар вошел в токарный цех и увидел Туфахон за станком, ему пришла в голову смешная и странная мысль: почему он не девушка, то-есть не просто девушка, а именно не Туфахон.

Эта мысль была, вероятно, вызвана той теплой и бескорыстной завистью, какая бывает у нас иногда к человеку, которого мы любим и которого сами же хотим видеть именно лучше себя. Такое чувство мы испытываем иной раз к собственным детям, завидуя их веселости, беспечности, детской привлекательности и немножечко жалея, может быть, при этом о своем далеком детстве...

В новом, аккуратно облежавшем ее стройную фигуру комбинезоне, с косами, закрученными вокруг головы, покрытой шелковой синей косынкой, склоненная над станком, внимательная и сосредоточенная, Туфахон была просто красива на фоне всей этой грандиозной, строгой и фантастической обстановки.

Умар неслышно приблизился к ней и долго стоял незамеченный, с чувством глубокого уважения глядя на нее, боясь пошевелиться и отвлечь ее внимание.

Иван Павлович стоял за соседним станком и, должно быть, тоже не замечал Умара. Время от времени старичок сдвигал очки на лоб и подставлял ладонь под горячую стружку или брал в руки какой-то чертеж и подолгу смотрел на него, взглядывая то на деталь, которая обтачивалась на станке, то опять углубляясь в чертеж и, видимо, что-то при этом высчитывая. Потом он опять пристально глядел на резец сквозь очки, точно всё никак не мог его рассмотреть. Когда Туфахон брала в руки маленький разводной ключ и пробовала им на станке какие-то гайки, Умар видел, как старик, не меняя позы и не поворачивая головы, искоса следил за ней пристальным и строгим взглядом.

Наконец он оглянулся, сдвинул очки на лоб и, молча посмотрев на Умара, опять отвернулся к станку, не ответив даже на его улыбку. Потом он подошел к Туфахон, поглядел, как она работает, послушал, склонив голову набок, как резец берет стружку, и только тогда что-то сказал ей.

Туфахон оглянулась, и кровь так и бросилась ей в лицо. Девушка подошла к Умару, протянула ему руку и еще больше покраснела, должно быть вспомнив, что уже виделась и здоровалась с ним сегодня.

Иван Павлович не слышал, о чём они говорили и, казалось, даже совсем забыл про них. Но они говорили очень недолго, и минут через пять Туфахон опять подошла к станку. Тогда Иван Павлович вытер руки о полотенце, висевшее тут же над верстаком, и подошел к Умару, который направился было уже к выходу.

— Что это вы убегаете, молодой человек? Не хотите разве со стариком побеседовать? — сказал Иван Павлович, сердито нахмурив брови и улыбаясь.

— Что вы, папаша, что вы?! — мягко ответил Умар, крепко пожимая старику руку. — Я просто боюсь вас отвлечь от работы. Ругать будете. Сейчас ведь каждая секунда на учете, особенно у вас, у токарей.

— Да, да, верно говоришь, молодой человек! Верно! — ответил Иван Павлович, сдвинув очки на лоб и уже глядя на Умара с искренним и серьезным видом. — Так вы что, интересуетесь, как девушка работает? — И вдруг, приблизив свое лицо к Умару, спросил его очень тихо и без всяких обиняков:

— Ваша невеста, что ли?..

— Нет, папаша! — так же тихо засмеялся Умар. — У нее жених есть. На фронте. Достоянее, чем я. Впрочем, они, вероятно, оба друг друга стоят. Как вы думаете, папаша?..

— О ней? — спросил Иван Павлович. — Очень хорошо думаю. Его, конечно, не знаю. А о ней с самой лучшей стороны думаю. Это прямо-таки не девушка, а кусок золота. Исключительная девушка. Если ее жених... Он кто? Солдат? Рядовой, то-есть?

— Старший сержант. Помкомвзвод. Ну... солдат, одним словом.

— Так вот, если этот солдат так же болеет душой за родину, как она болеет, тогда это самые счастливые люди. Я так понимаю: кто за родину умеет душой болеть, — это самые счастливые люди на земле. А остальные кто?.. Просто так... бараны. Верно я говорю?

— Верно, папаша! Очень верно!

— Ну, так вот. Если, я говорю, у солдата душа такая же, как у нее, так ведь это что?! Любо глядеть будет на них, на обоих. Она ведь сейчас как старается, ты бы видел, товарищ Умарджон.

Они были далеко от Туфахон, старик говорил шопотом и все-таки то и дело поглядывал в ее сторону.

— Восемь часов со мной работает, а потом еще четыре часа на электрокаре грузы возит. Она ни о себе, ни о родине, конечно, ни слова не говорит. Но ведь я вижу, как она родину любит. Вижу! Она все силы и способности свои отдает, чтобы только быть полезной родине.

Старик взглянул опять на Туфахон и продолжал:

— У меня ей трудно, конечно. За три-четыре месяца стать хорошим мастером, — это ведь невозможно, без определенных знаний и теоретической подготовки. Здесь нужно уметь чертежи читать. Читать чертежи, как хороший математик задачу читает, чтобы сразу видеть, как она должна решаться. И девушка старается, изучает. Все изучает. И чуть ли дома не геометрией занимается, как я подозреваю. Но ведь пока этого еще недостаточно, чтобы стать мастером. Недостаточно, так она, видите ли, что придумала? Стала просить меня, чтобы я помог ей устроиться в другой цех, на электрокаре работать. Я ведь понимаю, чего ей нужно. Ей нужно сразу видеть плоды своего труда. Ну, я помог. Устроил ее. Сейчас работает. И посмотрите, как работает. Лучше любого парня справляется с машиной. А почему так? Потому что желание большое у ней к работе. В общем, девушка, я вам говорю, сознательная. Хорошая девушка... Стоп, стоп! — вдруг испуганно и еще тише добавил он, заметив, как Туфахон оглянулась и прислушалась, и сделал Умару предупредительный жест.

— Ну, ладно, дорогой, ты нас извини, — сказал он Умару уже совсем другим тоном. — Мы с ней сейчас одну деталь по чертежу посмотрим. Извини, брат, некогда.

— Да что вы, пожалуйста! Напротив, вы меня извините, что я вас от дела оторвал.

— Да, брат, и в самом деле оторвал, — сказал старик, торопливо поправляя очки и прощаясь с Умаром. — Как там у вас дела в райкоме? Хватает работенки? — спросил он, приостановившись. — Березин ведь меня знает. Я старый большевик. Нас, таких стариков, во всем городе только четыре человека. Так ты передай ему от меня привет. Непременно перелей!

— Хорошо, папаша, передам, — сказал Умар, удаляясь.

„Да, мы счастливы, Ботыр, — думал он, выйдя во двор и направляясь туда, где строились новые корпуса. — Нам с тобой можно позавидовать.“

И, задумчиво улыбаясь, Умар невольно вспомнил, как еще совсем недавно, в позапрошлом воскресенье, когда в клубе завода силами молодежного драматического кружка ставили для трудармейцев маленькую, смешную, одноактную пьесу, он увидел среди драмкружковцев веселую звонкоголосую девушку Олю и с тех пор сердце его было беспокойно. Всюду, где бы он ни находился и что бы ни делал, он думал о ней и мысленно благодарил судьбу за то, что она занесла его в этот город.

— Умарджон! Товарищ Умарджон!..

Умар вздрогнул, рассеянно оглянулся. К нему, улыбаясь, подошел начальник сборочного цеха.

— Вы о чем-то уж очень задумались, — сказал он Умару. — Я несколько раз вас окликнул. Зайдите к нам в цех, посмотрите, как ваши земляки работают.

— А что, плохо работают?

— Я ничего не буду рассказывать. Вы сами посмотрите, как они работают.

Умар молча согласился. Они свернули направо и вошли в цех, где лязг тяжелых цепей, скрежет двигающихся подъемных кранов, шум катящихся вагонеток и громкие голоса людей вначале так оглушили Умара, что у него тонко зазвенело в ушах и он почти ничего не слышал, о чем ему говорил начальник цеха. Тот, видимо, опять ему что-то повторил и вдруг молча и с интересом уставился на него глазами.

— Громче говорите, ничего не слышу! — закричал ему Умар одной рукой показывая на свое ухо...

— А-а, понятно. — Начальник цеха, улыбаясь, закивал головой. — Мы ведь сами-то привыкли, так нам ничего, слышно, — весело закричал он ему в ответ. — Я говорю, посмотрите вот, как у меня еще одна девушка на электрокаре работает. — И он показал рукой в сторону, где за железными сплетениями двигался со стороны токарного цеха тяжело нагруженный деталями электрокар.

На площадке его, держась одной рукой за рычаг, стояла девушка-узбечка в синем с карманами комбинезоне и красной косынке. Умар посмотрел на нее и вспомнил, что он видел ее в тот день, когда из Узбекистана прибыл на этот завод эшелон с трудармейцами, и он вместе с Березным ходил тогда на станцию обследовать, в каком состоянии находились люди. Эта девушка стояла у вагона и, весело болтая с трудармейцами, просила продать ей кишмиша.

— На пятнадцать процентов только отстают от Норматовой. Тоже прекрасно справляется. Но та ведь днем работает в токарном цехе, а ночью в нашем. Вы знаете это?

— Знаю, как же, — сказал Умар, продолжая глядеть в ту сторону, где двигалась машина.

— Посторонитесь! Посторонитесь! — кто-то громко кричал по-узбекски.

Умар оглянулся и увидел вблизи себя вагонетку, нагруженную шестернями, которую толкали два трудармейца, обливающиеся жарким потом.

И едва успел Умар отскочить в сторону, как вагонетка с грохотом промчалась мимо него, а вслед за ней другая, третья, четвертая... Навстречу им по второй узкоколейке двигались другие вагонетки с тяжелыми болванками для токарного цеха.

— Ну, как по-вашему, стараются люди?

— По-моему, стараются.

— Так может быть вы побеседуете с ними?

— Зачем же сейчас их от работы отвлекать? Я с ними после побеседую. Вечерком... В бараке.

— Я, видите ли, что хотел, — смягчая голос, сказал начальник цеха, когда они ушли в такое место, где было меньше шума. — Я хотел, чтобы вы про них в областную газету статью написали. У нас были корреспонденты из областной газеты, но ведь они

узбекского языка не знают! А с людьми надо поговорить, знаете, этак потеплее. По душам надо поговорить.

— Я обязательно это сделаю, — сказал Умар, доставая из полевой сумки блокнот и что-то быстро в него записывая. — Обязательно сделаю, — повторил он еще раз.

— Потом я хотел, чтобы лучших стахановцев моего цеха премировать к первому мая. Я подам списки в дирекцию завода, а вы там от райкома поддержите моих людей. Дстойные, ведь, люди, честное слово, дстойные.

— Я вам верю, — улыбаясь, сказал Умар. Ему было приятно слышать это от начальника цеха про своих земляков.

Они прошли еще некоторые участки цеха и Умар, боясь оторвать людей от работы, находу прикладывал руку к сердцу и здоровался с ними на родном языке.

— Салом, товарищи! Привет! Не уставайте! — кричал он им.

— Спасибо, спасибо! Кельсынляр!¹ — неслоь ему в ответ.

Он вышел с начальником цеха во двор, попрощался с ним и направился было опять к строящимся корпусам, но на этот раз ему встретился старший мастер кузнечного цеха и Умар, уже сам воспользовавшись случаем, попросил его познакомиться с работой людей на его участке.

Только за час до обеда он успел все-таки побывать на строительстве, посмотреть, как работают там Шодмон-палван с Халилом в бригаде Мустафы Ризаева. И всюду: в цехах завода, на строительной площадке, в рабочих бараках, в клубе, где Умар проводил вечером беседу со стахановцами завода, он видел в людях одно горячее стремление как можно лучше работать, отдать родине все свои силы, помочь ей быстрее победить ненавистного врага.

III

Стояла дождливая ветреная ночь, одна из таких ночей, какие случаются весной после оттепели, когда уже повсюду сошел снег и кое-где пробивается зелень. В такие ветреные ночи, говорят старики, на деревьях лопаются почки.

Было, должно быть, часа три утра, когда Серафима Ильинична проснулась от набатного звона. „Что это?“ — с тревогой подумала она сквозь полусон и опять повернулась к стене, и ей стало сниться родное село и зеленая деревянная церковь по ту сторону речки, за мостом. Бабушка Прасковья Савельевна, крепко, до боли, сжимая ей руку, тащит ее, босоногую девочку, в церковь, а ей — Симке — не хочется итти в церковь, она почему-то боится этого колокольного звона и маленькое сердце ее отчего-то тревожно и часто бьется. Но бабушка то и дело ехидно ковырнет да ковырнет большим пальцем ее голову и, дергая Симку за ручонку, тихо приговаривает: „Иди, ослушница, иди. Дьякон-то вот выдерет тебя за косы“. „Чего она такая вредная, — думает Симка, — ведь она не была такая“.

— Серафима Ильинична!

¹ Кельсынляр — добро пожаловать.

Все смешалось, исчезло, какой-то назойливый сверлящий звук до боли вонзается в уши. Серафима Ильинична открыла глаза и вдруг опять услышала еще более участившийся резкий звон колокола и почти в ту же секунду, как она успела открыть глаза, раздался другой звук—пронзительный, надрывный,—заводской гудок.

— Серафима Ильинична, что это?—испуганно спросила Туфахон, лежащая рядом с ней. В последнее время они стали спать вместе на одной кровати.

Серафима Ильинична, ничего не ответив, повернулась на спину, и вдруг прямо перед ее глазами на белой стене отразилось яркое красное зарево.

— Туфа...—произнесла она поспешно и тихо и, быстро приподнявшись на локте, заглянула в окно.—Туфочка!.. Милая!.. Пожар!..—сказала она растерянным и упавшим голосом, мигом вскочила с постели и босиком бросилась к окну.

Туфахон мгновенно поднялась. Несколько секунд они обе молча стояли у окна, вглядываясь сквозь мрак в ту сторону, где за темными, блестящими от дождя, крышами домов все ярче разгоралось зарево. Заглушая надсадный звон колокола, где-то там, в полосе зари, не переставая, гудел гудок, точно плакал и молил о помощи.

— Туфочка! Ведь это наш! Наш завод!—сказала Серафима Ильинична и вдруг заметалась по комнате, ища одежду.—Родимый! Родимый!—заголосила она, поспешно надевая на себя юбку и срывая с вешалки фуфайку.—Неужто же сгорит?! Туфочка!.. Родимый наш...—повторяла она плачущим голосом и неожиданно умолкла, видимо поняв, что пугает девушку.

Туфахон одевалась, лихорадочно спеша и трясясь всем телом. Когда они, метнувшись к порогу, обе чего-то замешкались на секунду, комната вдруг будто вся вспыхнула, озарилась, и стало так светло, что виден был каждый предмет: и чернильница на столе, и красная баночка с пуговицами на комод, и тяжелый уют на плите, и полотенце на полочке, и черный гвоздь в стене. Но все эти предметы мелькнули перед ними только на одно мгновение: женщины распахнули дверь и выбежали на улицу, даже забыв запереть на замок комнату.

Квартала два они бежали молча, не разговаривая, задыхаясь и не обращая внимания на дождь. Впереди слышался глухой шум и крики людей.

Когда они выбежали на открытую площадь перед воротами завода, они вдруг увидели, что со всех сторон к заводу бегут люди, что-то крича и обгоняя друг друга. Иные бежали раздетые, в белом нижнем белье, другие набегу надевали на себя стеганные рабочие куртки.

За воротами завода гул людских голосов еще больше усилился. Туфахон на мгновение остолбенела от ужаса, увидев, как из окон одного из цехов горящим бушующим водопадом вырывается

наружу шумящее пламя. Она что-то хотела спросить у Серафимы Ильиничны, но хозяйки возле нее уже не оказалось. Туфяхон, как и другие, бросилась к пылающему зданию. Глаза ее слепил яркий отсвет пожара, а под ногами было темно, и она раза два споткнулась о что-то и чуть не упала.

— Какой цех горит?—спрашивала она бегущих. Но ей не отвечали, и только один молодой рабочий в синем комбинезоне и без шапки, бежавший ей навстречу, сказал растерянно и со слезами в голосе:

— Наш цех горит! Наш. Столярный.

Подбежав к толпе людей, окруживших пылающее здание, Туфяхон не могла сразу разобраться, что творилось вокруг: одни тянули куда-то пожарные шланги, другие, выстроившись цепочкой, быстро, как по конвейеру, передавали один другому полные ведра воды. Пожарники в медных сверкающих касках из брандспойтов поливали пылающие жерла окон, бегали по крыше, кричали в цехе. Но самая большая группа людей, стоя перед раскрытыми воротами цеха, еще бездействовала, громко шумела и жестикулировала, видимо, не решаясь кинуться внутрь горящего здания.

— Пахомов! Пахомов! Куда ты, бестолковая голова, воду-то льешь?! Вон куда надо лить! Дай-ка сюда мне ведро-то!

— Эх, плотники, чорт бы вас не видал! Натворили беды.

— Товарищ Березин! Товарищ Березин! Куда вы?! Нельзя туда! Сгорите! Товарищ Березин!..

— Сдайте назад. Что стоите бестолку?!

— Это их не касается. Чужое горит.

— Как чужое? Чего ты оскорбляешь?!

— А что же стоишь, если твое?..

— Гляди... Гляди... Куда они все побежали? Надо ведь организовано!

— Сдайте назад, взм говорят!

— Ребята... Смотрите-ка!..

И вдруг шум голосов на минуту затих. Слышался только треск и гул пламени, рвущегося наружу сквозь окна. Туфяхон пробилась вперед и на секунду остановилась, пораженная. Из ворот цеха, где в глубине завивался густой смолистый дым и по временам блистало пламя, двое людей толкали перед собой нагруженную инструментом вагонетку. Один из них был рабочий-плотник в одной нательной рубахе и без фуфайки, тот самый веселый, пожилой, с рыжеватыми усами трудармеец, с которым некогда Березин разговаривал в вагоне и который говорил, что он в Фергане работал по школам стекольщиком и плотником. Второй был Березин, в кожаном пальто и в кепке, надвинутой на глаза.

Низко наклонив головы, задыхаясь от усталости, от нестерпимого жара и дыма, они, видимо, уже выбивались из сил.

— Батюшки! Да что ж вы глядите?! Рубаха-то ведь у него горит! Горит!—закричала впереди какая-то женщина.

Все еще стоя на одном месте и также неподвижно, широко открытыми глазами глядя на этих двух людей, которые толкали вагонетку, Туфахон вдруг как бы очнулась и уже совсем другим, осмысленным взглядом пристально всмотрелась в Пахомова. Низко опустив непокрытую голову, так что сутулые плечи его были почти на одной высоте с затылком, Пахомов молча толкал перед собой вагонетку, ни разу не подняв головы и не взглянув на собравшуюся у ворот цеха толпу.

И в ту же секунду Туфахон заметила, как белая рубашка на плече Пахомова стала быстро желтеть и лопаться и вдруг вспыхнула низеньким желтым пламенем. Этого, видимо, не успел заметить даже Березин, потому что он не посмотрел на Пахомова и, не изменяя позы, продолжал толкать перед собой вагонетку. Тогда Туфахон, в один миг на что-то решившись, вырвала у кого-то из рук полное ведро воды и, подбежав к Пахомову, вылила ее ему на спину. Затем она с той же решительной и молниеносной быстротой сорвала с себя фуфайку, намочила ее водой, накинула на плечи Пахомова и, встав рядом с ним, начала помогать толкать вагонетку.

В эти минуты Туфахон сама смутно сознавала свои действия, но люди потом ей рассказывали, какую смелость и решительность проявила она во время тушения пожара.

Пахомов и Березин, приподняв свои красные воспаленные лица с темными и странными глазами, молча с благодарностью посмотрели на нее. Но она больше никуда не смотрела и, повернув голову в сторону, помогала им катить вагонетку. Она не видела ни их благодарного взгляда, ни того, что произошло в эту минуту вокруг нее. Трудно сказать, в какой именно миг это произошло: то ли, когда Туфахон, облив Пахомова водой, накинула на него свою фуфайку, то ли тогда, когда стала уже вместе с ним за вагонетку, неизвестно в какой именно момент Туфахон услышала вокруг себя энергичные решительные голоса людей, плеск воды, шум катившихся по другой линии вагонеток, зазвеневший на цементном полу уроненный кем-то лом. Даже после она затруднилась бы ответить, видела она это или только слышала, но она поняла, что произошло то, что могло спасти не только весь завод от пожара, а даже то ценное оборудование, которое еще осталось в этом цехе: та большая толпа рабочих, которая до этого стояла в нерешительности у самого входа в горящее здание, вдруг бросилась тушить пожар.

И почти в тот же момент, как это произошло, их всех тронх — и Березина, и Пахомова, и ее — кто-то грубо оттолкнул от вагонетки, и не успела она опомниться, как уже Березин подал ей руку, помогая подняться с земли.

— Не сердитесь на него! Он не хотел этого сделать, — сказал Березин, и Туфахон, взглянув в ту сторону, куда покатилась вагонетка, увидела широкую спину Шодмон-палвана, который один покатил вагонетку дальше.

— Вы присядьте на минутку вот на это бревно,—сказал Березин, обращаясь одновременно и к Пахомову и к Туфахон,— а я пойду разыщу врача. Ведь Пахомов-то обгорел, кажется,— добавил он, глядя на плотника.

Березин ушел, а Туфахон, присев с плотником на бревно, чтобы отдышаться, почувствовала, как Пахомов весь начинает дрожать, так что было слышно даже как стучат у него зубы.

— Вам холодно?—спросила она.

— Нет. Не знаю... почему... такая дрожь,—ответил он, зябко ежась и сильно сутулясь.—Вы сами-то... что же раздетые? Простудитесь.

— Ничего, ничего. Не беспокойтесь.

Она приподнялась и тихо и бережно поправила у него на плечах свою фуфайку.

— Мне не холодно.

Вернулся Березин с доктором и оба они куда-то увели Пахомова, взяв его под руки.

— Вы тоже идете с нами. Теперь здесь без нас справятся,—сказал Березин, оглянувшись на Туфахон.

Она ничего не ответила и опять пошла к цеху. Но вокруг него было теперь почти темно. Повсюду в темноте сновали люди и слышались голоса. Огонь погасили. Внутри цеха, где шипели и дымили, громко потрескивая, обгоревшие бревна, стучали топоры.

Туфахон пристроилась к цепочке людей, которые все еще подавали куда-то воду и так же, как другие, стала быстро брать и передавать ведра из рук в руки. Только теперь она как будто немного пришла в себя. Она заметила, что дождь, видимо, так и сыпал, не переставая, и мокрое платье ее прилипало к телу и сковывало движения. Один раз мимо нее пробежал куда-то с ломом в руке Умар, но не остановился и даже не поздоровался с ней, только быстро и неодобрительно взглянул на нее. Минут через пять после этого к ней подбежала запыхавшаяся Серафима Ильинична.

— Ты что же это делаешь, девка, а?—закричала она еще на бегу.—Захворать хочешь?! Раздетая, мокрая. Ты погляди, ведь холодище-то какой, а ты раздетая?! Спасибо, вот Умарджон увидел тебя, а то с ног сбилась, не могу тебя найти, да и только. Домой, домой! Сейчас же домой! Теперь потушили,—говорила она, снимая с себя фуфайку и накидывая ее на дрожавшие плечи девушки.

И как ни протестовала Туфахон и ни просила ее подождать, пока все кончится, Серафима Ильинична ничего больше не хотела слушать. Она увела ее домой, напоила чаем с сушеной малиной и, хотя уже начинало светать, все-таки уложила Туфахон в постель, укутав ее одеялами и набросив на ноги полушубок.

— Усни хоть часок. Согрейся,—сказала она, а про себя с тревогой подумала: „Неужели захворает теперь?“

(Продолжение следует).

А. ИВАНОВ

КОЛОДЕЦ В ПУСТЫНЕ

Пустыня...
Века склонились над ней. Пески, пески.
Хурджумы мака рассыпают зори.
Уста пустыни сжаты от тоски.
Тоска во взоре.
Диск солнца желт
И жжет.
С бугров
Кустарники с верхушками как зонт
Осматривают зорко горизонт.
Рисованы тончайшей кистью
Былинки серые и травы, и следы:
Овечьи, птичьи, волчьи, лисьи...
Здесь, в поисках воды,
Скрестились тропы жизни и беды.
Из-за холмов, как женщина из озера, порой
Луна-монголка, крашенная хной,
В ночь, круглолицая, выходит.
И тихо бродит
Звездною тропой.
И травы тянутся к ней ввысь, на водопой.

Но вот внезапно
К пескам, зачесанным буранами на запад,
К холмам, где на припеке спину грел варан,
Пришел крикливый караван.
Как птицы, головы под крыльях кошм свернув,
Седые юрты погрузились в сон.
И стан, пугая змей, фаланг и черепах,
Кизячным дымом, тесом, кумысом
И глиною пропах.
И просмоленные от зноя, в клубах пыли,
Лощину люди мерили, бурили, рыли.

Тяжелый зной
Сиял горячей желтизной.
Медовый запах трав
Носили гулкие ветра.
Пески от ветра шевелились, осыпались,
Кузнечики в траве пересыпались.
Но пыль над станом улеглась, осела.
Колодец, выложенный камнем серым,
К сухой груди лошаины старой
Привлек отары.
Стучат копытца у колодца,
И в желоб цементный вода, сверкая, льется.

СТЕПНАЯ СТАНЦИЯ

За холмы, за полынь смотрит зорко вперед водокачка.
Вдоль стального пути по степному гудят провода.
У верблюжьей стоянки кончается мерная качка,
В бурдюки каравана струится из крана вода.

И под зноем стоит станционное пыльное зданье,
Провожая, встречая бегущие вдаль поезда.
И спешат поезда, будто к встрече они опоздали,
И горит на груди паровозов высокие звезда.

Ветер, быстрый пастух, стережет необъятные степи,
Далеко-далеко в белой шапке калмыцкой гора.
От нее разбегаются горные снежные цепи.
Золотая дымится от ветра в степи богара.

Степи. Пастбища ветра. Тропинки кривые, как ветки.
На холмах бьется флаг, штабелями строительный лес.
А за ним,—след упорных и смелых шагов пятилетки,—
Очертания зданья казахской степной МТС.

ГАФУР ГУЛЯМ

ЖЕНЩИНА, СОРЕВНУЮЩАЯСЯ СО СВОИМ МУЖЕМ

Рассказ

„Бывает дом без плова, но дома без ссоры не бывает“. Эта поговорка наших дедов и прадедов не совсем подходит к семье, о которой будет речь ниже. Потому что в семье этой и работа есть, и плов готовят. Но, если уже говорить по совести, то в ней бывают и размолвки.

Инаят-хан Диярова и в прошлом году была старшей звена. Шесть месяцев лета и шесть месяцев зимы Инаят-хан трудилась, не зная усталости. В конце концов, сдав с каждого гектара по двадцати восьми с половиной центнеров хлопка первого сорта, она выполнила план на сто двадцать пять процентов. И, конечно, в колхозе ее уважали, поощряли. Ее не однажды премировали, не говоря уже о том, что она получила кое-что при распределении доходов. А получила Инаят-хан немало. Домой она пришла с охапкой всякого добра — отрез атласа, отрез крепдешина, обувь, и это — не считая целого вьюка денег и больше десятка мешков разного зерна. Все в колхозе поздравляли ее, выражая свои чувства обычным в таких случаях „Баракалля!“¹ И если бы муж Инаят-хан, Балта-бай, встретил ее хотя бы одним этим словом, то, вполне возможно, все обошлось бы благополучно. Однако, Балта-бай этого не сделал. Он прикинул атлас на руку, пощупал его и небрежно бросил:

— Обыкновенный товар. Между шелком в нем есть и поддельная нитка...

Инаят-хан крепко обиделась.

— Ладно, — сказала она, — пусть будет поддельная, зато труд мой был честным. Посмотрим, что вы принесете. Может статься, что в вашем и не будет поддельной нитки.

Балта-баю почудился в этих словах намек: „Кто ты, простой кетменщик, а я — я в голове звена стою“. На глаза ему попало бар-

¹ Баракалля — хвала, слава тебе! Молодчина!

хатное пальто, которое он привез еще до войны с сельскохозяйственной выставки.

— Та-ак...—протянул он насмешливо.—Мы—простые кетмен-щики, где нам жену одеть...

Нервно поигрывая тюбетейкой, он вышел на улицу. А через минуту он уже стоял перед столом председателя колхоза с заявлением.

„Заявление.

От Балта-бая, сына Тиша-баева.

Со сбором мы покончили. Зиму я хотел бы поработать на фархадском строительстве. А поэтому прошу вас отпустить меня до весны.

Руку приложил Балта-бай.“

Председатель нашел это намерение Балта-бая вполне подходящим. Он взял с него слово и в тех местах поддержать славу колхоза и дал разрешение на отъезд.

Балта-бай и в самом деле скоро и себя прославил, и славу колхоза своего поддержал. Не прошло и месяца, как имя его можно было уже услышать наряду с именами передовых стахановцев фархадского строительства. Камни в пять и шесть пудов весом Балта-бай кидал, словно комья глины для кладки дувала. Когда же он, доведя мастерство выворачивания камней до совершенства, завоевал звание трехсотпроцентника, то о нем и в газете написали и даже портрет его поместили. А под портретом подпись: „Один из истинных фархадовцев, Балта-бай, сын Тиша-бая“. Потом еще имя его было упомянуто в частушке одним артистом, приехавшим на строительство с концертной бригадой. Артист пел, примерно, так:

В поднебесьи летит сокол,
Летит в сторону Фархада;
Балта-бай киркой ударит,
Дрогнет в десять пуд громада.

В один из дней стахановцы строительства были созваны для вручения наград.

— Балта-бай Тиша-баев награждается часами!—объявил бригадир.

Балта-бай подошел к столу и, застеснявшись, сказал:

— Мне часов не нужно...

Бригадир растерялся:

— Вы недовольны?

— Нет,—сказал Балта-бай,—мы очень благодарны, только...

— Ну?

— Часы для нас—восход и закат солнца. Если бы вместо них мне что-нибудь другое дали...

— Например?

— Отрез атласа.. Тут одна заковыка есть,—попытался пояснить Балта-бай.

Бригадир, будто догадавшись, в чем состоит балтабаевская „заковыка“, улыбнулся:

— Только мы на часах уже имя ваше написали, вот...

— Ну, ладно, в следующий раз...

Бригадир, однако, расщедрился: к часам он прибавил и отрез атласа. Да еще какого атласа! Именно такого, о каком мечтал Балта-бай: плотного, чистого шелка и тканого как полагается, с пропуском нитки утка обязательно через каждые восемь ударов берда!

Балта-бай свернул вчетверо газету со своим портретом и, положив ее вместе с письмом между складок атласа, отослал посылку домой. В письме он писал:

„Возлюбленной подруге нашей, сладкой Инаят-хан, да будет ведомо, что мы, радуясь и веселясь, работаем в одном из самых чудесных мест на свете. Иначе говоря, работаем мы на Фархадстрое, и посылаем Вам этот скромный свой подарок. Надеемся, Вы его примете. Поцелуйте наших цыплят. Вот и все, на этом кончаем.

Желаем Вам здоровья. До личного свиданья с Вами, Вашим Фархадом—Балта-баем писано.“

Сколько было вложено в это письмо иронии, знал только сам Балта-бай и его жена.

Письмо Балта-бая было получено и, что бы там ни было в нем написано, оно было прочитано и понято, как надо. Портрет, что был напечатан в газете, переходил из рук в руки. Особенно „цыплята“ копошились: вырывали портрет друг у друга, насмотреться не могли. Однако вместе с радостью в сердце Инаят-хан понемногу разгоралось и чувство какой-то сладкой зависти. Она сложила письмо, спрятала его между складок атласа и положила на полку. Потом взяла газету и направилась прямо к правлению колхоза. Инаят-хан услышала, что председатель колхоза о чем-то горячо спорит в сарае с престарелым дедом Хайдар-али—колхозным шорником, и остановилась у входа. Председатель, наконец, уступил старику, и спор прекратился.

— Братец Эргаш, у меня к вам дело есть,—заговорила Инаят-хан.

— Опять насчет навоза, а?

— Насчет навоза тоже разговор есть, только вы прежде взгляните вот на эту газету.

— Что, колхоз наш прописали? И здорово? Да, пожалуй, и следует. К обязательству руку мы приложили, зазнавались: мы, де, с ташкентцами соревнуемся, а на деле показать,—пока еще не показали. Если прописали, хорошо сделали.

— Не тужите раньше времени. Это другая газета. Тут про Балта-бая нашего пишут.

Инаят-хан протянула газету председателю. Председатель, повторяя через каждые два слова: „Вот молодец, вот молодец!“

прочитал подпись под Балтабаевским портретом. Потом взглянул на Инаят-хан:

— Так,—проговорил он,—я рад, а ты что скажешь?

— То же самое скажу и я, только...

— Что „только“?

— Хотела попросить, чтоб вы не отзывали его...

— Ах, вон как, ха-ха-ха, боишься, что придет и предложит работу оставить?

— Нет, не то,—проговорила Инаят-хан и покраснела.—Он мне письмо прислал в с такой насмешкой...

— Так что же я должен делать?

— В ответ на его письмо я решила вступить с ним в спор. Мое звено тоже будет выполнять, как и он, по три нормы. А вас я прошу сообщить в область, что я со своим звеном присоединяюсь к движению стоцентнеровиков. Обещаю в этом году дать с каждого гектара по сто центнеров хлопка.

— Баракалла!—воскликнул председатель.—Иначе говоря, ты хочешь потягаться с мужем? Дело подходящее. Я согласен. Очень хорошо ты задумала.

И вот, если хотите знать, с этого и началось. Семь членов звена с ранней зари до позднего вечера копошились на пашне. Найдется ли где мешок навоза или отбросов,—все у них шло на участок. Можно сказать, что именно это звено сделало в Ахунбабаевском районе правилом использовать дорожную пыль в качестве удобрения.

В апреле Балта-бай получил такое письмо:

„Бесценный Фархад наш, братец Балта-бай!

Да будет с Вами мир! От членов звена, от дыпляток наших Вам бесчисленное множество приветов. Мы приняли Ваш вызов и вступили в ряды стоцентнеровиков. 3-го апреля мы первые в колхозе закончили сев. Уже появились всходы, ровные-ровные! Я взяла на себя обязательство выполнять, как и Вы, по три нормы.

Тоскующая по Вас, Ваша Инаят-хан.“

После этого каждая из сторон приняла за правило посылать друг другу рапорты о своей работе.

На участке звена уже было проведено две окучки и три культивации. Когда вылоло сорняки и принялись за подкормку, приехал в гости Балта-бай. В новом, только что полученном костюме, он обошел весь участок звена, и ничего не ускользнуло от его внимательного взгляда. За ужином, признав, что хлопок растет нормально, Балта-бай сообщил, что сам оц стал уже четырехсотпроцентником. Через три дня он вернулся на Фархад.

Недавно мне пришлось побывать в тех местах. Путь мой лежал через колхоз имени Сталина. Я решил проведать своих старых знакомых. Инаят-хан чуть не силой повела меня на свой участок, чтобы показать хлопок. Я не располагаю достаточными знаниями в области агротехники. Я видел только, что выросшие по пояс кусты хлопка стояли, зеленея, густо увешанные еще не-

раскрывшимися коробочками и множеством белоснежных цветов, которые своей яркостью спорили с лучами самого солнца.

Инаят-хан то и дело спрашивала меня:

— Что скажете? Сумеем мы дать больше ста центнеров?

Я каждый раз взглядывал на председателя, а тот незаметно подмигивал мне и говорил:

— Цыплят считают по осени. Все зависит от того, как вы будете трудиться дальше.

— Раис говорит правду,—вторил я, вполне уверенный, что эта женщина обязательно добьется своего.

Перевел с узбекского Н. Ивашев

Ю. ПЕТРОВИЧ

ПЕСНЬ О ДАНКО

Рассказ

Эта зима была особенно суровой. Горный ветер со злостью и свистом набрасывался на домики метеорологической станции, швырял в окна колючие хлопья снега, с воём раскачивал мачты антенны. Делая записи в журнале старший наблюдатель Кирюхин недовольно ворчал:

— Чорт знает, что такое. Который день дует! Того и гляди, антенну сорвет.

А метель попрежнему продолжала бушевать. В тесном домике станции, однако, никто не унывал. Зимовщики были молодыми, жизнерадостными людьми, и никакая метель, казалось, не могла нагнать на них тоски. Станция жила своей обычной размеренной жизнью. Аккуратно велись наблюдения, совершались вылазки для замеров, передавались в эфир метеосводки. Вечерами, собираясь в ленинском уголке, зимовщики до поздней ночи засиживались за шахматной доской. Сильнейшим шахматистом на станции считался врач Семен Владимирович Зайко, которого на зимовке окрестили в шутку чемпионом Памира.

Семен Владимирович был, как говорится, человек труда. Он не любил сидеть сложа руки. В Отечественную войну он был главврачем одного из полевых госпиталей. Ему приходилось работать под артиллерийским обстрелом, в нетопленных комнатах с забитыми фанерой окнами. И всегда Семен Владимирович был деятелен и неутомим.

После войны он вернулся в Ленинград. Прежняя жизнь казалась теперь слишком спокойной и тихой. Семен Владимирович к тому же был вдов, жена умерла года за два до войны, оставив ему двадцатилетнюю дочку Наташу, которая воспитывалась в Куйбышеве у тетки.

Поэтому, когда ему предложили участвовать в экспедиции на Памир, Зайко с радостью согласился. Ему поручалось исследовать на Памире очаги пендинской язвы.

Сотни километров прошла экспедиция по головокружительным горным карнизам, узкими осыпающимися тропами, по тонким висячим оврагам. Врач обследовал глухие кишлаки, ютившиеся

на высокогорных кручах. К осени экспедиция тронулась в обратный путь. Но случилось так, что караван задержался, и рано выпавший снег закрыл перевал. Приходилось ждать весны. Пришлось врачу и его спутникам зазимовать на высокогорной метеорологической станции.

Станция стояла на склоне Заалайского хребта. Вокруг громоздились серые скалы, поросшие низкорослыми кустами терескена. Кустарник служил плохой защитой от снега, и ветер за ночь наметал к домику огромные снежные сугробы.

Семен Владимирович усидчиво работал над диссертацией, которую начал писать на основе своих наблюдений и обследований. Он быстро освоился в новой обстановке. И хотя стрелка его жизненных часов, как он выражался, давно уже перевалила за пятьдесят, молодые зимовщики поражались его подвижной и неугомонной натуре. Днем он писал или помогал зимовщикам в работе, вечерами же занимал их рассказами из своей богатой врачебной практики или пел под аккомпанимент воющего за окнами ветра:

Мой любимый старый дед
Прожил семь десятков лет...

Семен Владимирович был страстным поклонником литературы. Он знал наизусть многие рассказы Горького, цитировал огромные куски из романов „Мать“, „Дело Артамоновых“, „Жизнь Клима Самгина“. Горький был его любимым писателем. Семен Владимирович мог часами читать или декламировать его произведения, прислонясь спиной к стене и сложив на груди руки. С появлением его на станции здесь частенько устраивались литературные вечера, на которых он выступал с докладами о творчестве писателей, иллюстрируя их отрывками произведений.

В один из таких вечеров Семен Владимирович начал рассказ о прекрасном Данко из „Сказок старухи Изергиль“.

— Жили на земле в старину одни люди, — голос доктора звучал тихо и проникновенно, — непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой — была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди...

Тут Семен Владимирович внезапно остановился. Немецкая овчарка Барс, лежавшая у порога, вдруг поднялась, понюхала дверь и заворчала.

— Барс, — прикрикнул на собаку радист Балаев, — лежи!.

Собака посмотрела на людей, потом снова понюхала дверь и раза два тявкнула.

— Почуял что-то, — сказал доктор. — Надо взглянуть. Кошек, как будто, на станции нет.

Он пошел к двери. За ним поднялись зимовщики Балаев и Кирюхин.

Одеваясь в сени, они сквозь вой ветра вдруг ясно услышали крик: Э-эй...

— Человек! — Доктор торопливо надел шапку и рванул дверь. Колючий ветер ударил в лицо, сорокаградусный мороз захва-

тил дыхание. Прищуриваясь, доктор стал вглядываться в снежную мглу. Барс бросился с крыльца и побежал вперед, увязая в снегу.

— Э-гей! — крикнул доктор, прыгая в снег. — Держись... Кто там?!

Из темноты донесся короткий человеческий возглас и лай собаки. У психрометрической будки лежал в снегу незнакомый человек. Он поднялся на колени и, протянув к подбежавшим людям дрожащие руки, хрипло сказал:

— Помогай...

Подобранный в снегу оказался таджиком-охотником из кишлака Чангалли, расположенного километрах в пятнадцати от станции. У него были отморожены ноги и пальцы рук. Пострадавшего раздели, положили на кровать и стали растирать спиртом.

Из сбивчивого рассказа охотника можно было понять, что дома у него лежит тяжело больной трехлетний сынишка.

Горец приподнялся на локтях и, умоляюще заглядывая в лица обступивших его зимовщиков, взволнованно твердил:

— Он совсем маленький... Зовут его Али. Очень плохой... Помогай, товарищ... Один сын — спасти надо... Помогай... А?

Семен Владимирович сосредоточенно думал. Наконец он сказал:

— У ребенка, видимо, круп. Надо итти в Чангалли.

Начальник станции хмуро взглянул на окно, за которым бесновалась и выла пурга. Затем он перевел взгляд на доктора, вежливо спросил:

— Возможен смертельный исход?

— Да, если опоздать.

— Не могу запретить вам. Но проделать в такую погоду пятнадцать километров в горах... До утра отложить нельзя?

— Нет. Круп — быстро прогрессирующая болезнь.

— Я не могу отпустить вас одного... Вас будет сопровождать Кирюхин.

— Чепуха. Дорога мне известна. Никаких провожатых.

Доктор нахлобучил меховую шапку, надел шубу и, взяв полевую сумку с медикаментами и инструментами, решительно направился к дверям.

— До свидания. Завтра вернусь, — уже из сеней донесся его голос. — Закройте дверь...

Воцарилась тишина, длившаяся несколько минут. Все молча опять присели к столу. Радист Сережа Балаев подвинул к себе раскрытую книгу и в напряженной тишине вновь зазвучала вдохновенная сказка старой Изергиль о смелом Данко.

...«Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе обрушились на Данко, человека, который шел впереди их...» Голос Сережи был негромкий, взволнованный.

«И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.»

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к лю-

дям, а тьма разлеталась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота..“

Сереза кончил читать и захлопнул книгу. Все молчали. Наконец кто-то тихо сказал:

— Прекрасная сказка о Человеке..

У порога тихонько заскулил Барс. Все невольно взглянули на дверь, и каждому представилась одинокая человеческая фигура, затерянная во мгле диких горных дебрей.

* * *

Морозный порывистый ветер мешал идти. Он срывал с камней снег, серыми облаками бросал в воздух, рассеивал и в диком вихре носил над землей.

Семен Владимирович с трудом передвигал ноги. Сколько времени прошло с тех пор, как он вышел со станции? Ему казалось, что во всей вселенной не существует ничего, кроме этого колючего, пронизывающего до костей ветра, что время остановилось навсегда. Нет ни метеорологической станции, ни голубоглазого радиста Серезы Балаева, ни умирающего ребенка... ничего, кроме замерзшей планеты, которая несется в пространстве, оставляя за собой снежный вихрь...

Полевая сумка с инструментами давила плечо. Ноги дрожали от усталости. Хотелось лечь в снег, свернуться клубком, уснуть... Может быть, к утру стихнет ветер, потеплеет. Ити дальше нет сил.

Но доктор знал, что лечь хотя бы на несколько минут,— значит замерзнуть. И он шел и шел.

Дорога вилась по узкому карнизу над пропастью. Прижимаясь плечом к гранитной стене и ощупывая палкой тропинку, доктор медленно подвигался вперед. Почва под ногами стала вдруг выбкой,— он понял, что начался овринг.

Овринг — это одно из искусственных дорожных сооружений на Памире. В отвесную стену над пропастью вбивают колья, на них кладут жерди и заваливают землей. Получается висячая тропинка, под которой в глубокой бездне рокочет стремительный горный поток.

Доктор замедлил шаги. Овринг чуть прогибался под его тяжестью. Откуда-то сверху донесся глухой нарастающий шум обвала. Сразу лихорадочнее забилося сердце и страх сдавил грудь тупой болью. Доктор присел, съезжился, стараясь слиться с камнем. Мелькнула мысль: „Вот и конец“.

Впереди, с крутого склона горы, с грохотом пронеслась в пропасть огромная снежная лавина, обдав доктора снежной пылью и струей ледяного ветра. Раскаты эха долго грохотали по ущелью и замирали во мгле.

Доктор все сидел, прижавшись к скале, еще не осознав, что опасность миновала. Потом, словно не веря, что остался жив, он поднес к лицу заочеченные руки и чуть улыбнулся замерзшими губами.

В хижине было полутемно. Маленькая лампа с привернутым фитильком бросала на стены желтые пятна света, и верхние углы комнаты оставались совершенно темными. В люльке громко и хрипло дышал ребенок. Он уже не плакал, как в прошлую ночь, а только изредка тихонько стонал.

Утомленная бессонницей мать дремала около больного ребенка. Засыпая, она медленно валилась вперед, теряла равновесие, вздрагивала и, проснувшись, снова начинала покачивать люльку.

Неожиданно снаружи послышался лай собак и чей-то голос. Женщина встала.

Дверь со скрипом отворилась и на пороге, окутанный клубами пара, покрытый сосульками и снегом, встал человек. Он попытался закрыть за собой дверь и не мог.

— Карим?— тревожно спросила мать.

Человек минуту молчал, затем, шагнув к огню, хрипло сказал:

— Нет, это доктор...

Отогревшись, Семен Владимирович надел халат, разложил инструменты и осмотрел ребенка. Мать стояла у изголовья. Прижав руки к груди и дрожа всем телом, она с испугом следила за движениями врача.

Семен Владимирович оказался прав. У мальчика была тяжелая форма крупа, он впал в беспамятство.

Доктор сделал укол и еще дрожащими от усталости пальцами начал интубацию. Он облегченно вздохнул, когда ему удалось вставить трубку в дыхательное горло ребенка.

Закончив операцию, он разогнул спину и впервые с момента ухода со станции весело улыбнулся. Женщина перестала дрожать, но еще недоверчиво смотрела на врача.

— Не волнуйтесь,— больше жеста, чем словами, успокоил доктор.— Выздоровеет. Спать ложитесь. Наверное, несколько ночей уже не спали? Да? Ну, вот и ложитесь, я тут посижу. Ничего, ничего, ложитесь.

Его уверенность и ласковый тон успокоили женщину. Поставив перед ним горячий чай и незатейливый дастархан, она мгновенно уснула.

Семен Владимирович поставил больному термометр и прошелся по комнате. Ему тоже сильно хотелось спать. Веки налились и стали тяжелыми, тело ныло, мысли путались...

Ребенок заворочался в люльке и доктор подошел к нему. Али не спал. Мутные глазенки его неподвижно смотрели на доктора.

— Что не спишь?— ласково спросил Семен Владимирович.— Надо бай!

Он сел возле люльки и стал покачивать ее. За маленьким замерзшим оконцем брезжил рассвет. Семен Владимирович взглянул на ребенка. Он спал. Термометр лежал на одеяле, но доктор не посмотрел на него. Стало ясно и так: Али будет жить.

САИД-АХМАД

МАСТАН-БИБИ

Рассказ

Аробщик уста¹ Кабыл вышел из правления колхоза и пешеходной тропинкой направился к своей курганче². Шел он неторопливой походкой человека, уже довольно пожившего на белом свете, заложив левую руку за спину, и думал. Думал он... Да мало ли о чем может думать человек, которому пошел уже седьмой десяток? Вот хотя бы взять этого нерадивого арбакеша³, которому уста Кабыл только что чинил арбу. Сколько раз уста говорил ему: держись каменной дороги, а он вот опять на проселке в выбоину залез и половину спиц правого колеса вывернул. Или вот другая забота, поважней первой. Сын уста Кабыла, Касым-джан, в прошлом году, в пору цветения урюка, ушел в Армию и все время аккуратно слал письма, но вот уже больше месяца, как от него ни письма, ни привета. Невестка, правда, окунулась в работу и печаль свою хранит в себе, только где-нибудь в укромном месте вздохнет, чтоб никто не видел. А вот старуха, жена мастера, Мاستан-биби, каждый день плачет, худаи⁴ вздумала устраивать...

Занятый своими мыслями, уста Кабыл даже не заметил, как очутился у своей калитки. Мاستан-биби увидала мужа и, будто только и ждала его появления, накинулась на него с упреками. Старик досадливо поморщился.

— Опять ты в одну минуту, будто электрический чайник, вскипела, — сказал он. — Опять худаи. Конечно, прежде худаи устраивали, а теперь... Теперь и жизнь другая и люди другие. К тому же, если что случилось, то все равно никакое худаи не поможет.

— На старости лет на удочку поймались, — сердито фыркнула Мاستан-биби, — на чужой лад песни-петь начали! Один единственный сын у него, а он и худаи ради него не хочет уст-

¹ Уста — мастер.

² Курганча — отдельный двор, огороженный глиняным забором — дувалом.

³ Арбакеш — кучер.

⁴ Худаи — поминки или угощение с богоугодной целью.

роить. Ну, невестка — ей и горя мало. С какой стати у ней будет душа болеть: чужой человек, по-чужому и думает...

— Укороти язык свой, соседи услышат, скажут: жена уста Кабыла с ума сошла. Смотри, вон теленок корову высосал!

Мастан-биби привязала теленка и, будто она и не прерывала разговора, продолжала:

— Чужая, по чужому и думает. В Ташкент тогда поехала и на целых пятнадцать дней исчезла. А вернувшись, не успела в дверь войти, в шелку выскользнула: так ей на работу захотелось. И каждый день — является, когда уже стемнеет, когда в котле еда поспеет. Я и корову дою, я и в доме прибираю...

— Не следовало бы тебе шум поднимать, — насмешливо заговорил старик. — Который тебе год пошел? Ну, допустим, шестьдесят пятый. Твои ровесницы все с кетменями на поле работают или на заводе электрические машины вертят. А ты что ж, хотела бы, как жена Худояр-хана, разлечься на девяти одеялах и только распоряжаться...

— Да не о том я...

— А не о том, так молчала б лучше. Говорить — тоже надо знать, что говорить. Будь у кого другого такая невестка, он бы от радости тибетейку до небес подкинул. Другие, как только тень нашей невестки появится, уже одеяла расстилают. А ты ее не ценишь.

Мастан-биби молча разлила молоко в плоские деревянные чашки, приготовила и наложила мешанку корове в ясли, посыпала курам, потом, усевшись у очага, положила горящий уголь в чилим и сделала глубокую затяжку.

— Подумать только, — заговорила она, будто рассуждала сама с собой, — ночью сошла с огненной арбы, а чуть свет — кетмень на плечи и в тугай отправилась...

— Перестань ворчать, — взглянул на жену уста Кабыл.

Старуха, оттого, что ее перебили, вспыхнула:

— А почему я должна молчать? Бывало другие: впереди невестка шелестит новым фабричным платьем, поскрипывает лаковыми ичигами и капишами, а вслед за ней мать идет, радуется, что, глядя на жену сына, ей народ завидует. А у этой бесстыдницы целых три пары лаковых ичигов и капишей со скрипом в сундуке лежит, а она наденет на ноги восьмипудовые сапоги и день и ночь на поле в навозе копается. Знакомых и соседей стыдно.

— Что ты там болтаешь? С коня свалилась, а с седла сойти не желаешь? Такое разве теперь время?! Война кончится — украшай потом невестку усьмой, пудрой, лентами и, что до меня, хоть поставив карнайчи на гузар¹, новую свадьбу играй. А сейчас время не то, у каждого над головой забота. Йигиты на войне, женщины на работе. А ты... Невестка твоя в Ташкенте на съезде клятву дала перед большими людьми, перед всем народом, большой урожай обещала вырастить! Наше с тобой вре-

¹ Гузар — перекресток.

мя прошло уже такие клятвы давать, но мы должны помогать ей в ее делах.

Уста Кабыл прислушался: снаружи кто-то загремел кольцом калитки. Старик поднялся и вышел во двор. Через минуту он возвратился и, вынув из-под тюбетейки конверт, показал его жене:

— От Касым-джана письмо пришло.

— Правда?

— Правда, только письмо невестке твоей писано.

— А что у него может быть такого, чтобы от меня понадобилось скрывать? Раскроем и прочитаем.

— Нет, нельзя, невестка твоя обидится.

Уста Кабыл встал и неторопливо направился к калитке.

Мастан-биби терпела почти до самого вечера, но под конец все-таки не вытерпела, открыла конверт и позвала внука:

— На, почитай...

„Свет очей моих, любимая моя...“

Мастан-биби кивнула внуку:

— Пониже начни.

„Твои карие с поволокой глаза...“

— Чудно! Переверни, почитай с конца.

„Душа моя, Хасият-хан. Я прочитал в газете о клятве, которую ты дала перед народом...“

— Смотри, о клятве Хасият-хан даже на войне молва пошла... А что ж, так оно и должно быть. Невестка моя не какая-нибудь там...

Мастан-биби взяла письмо из рук внука, бережно заклеила конверт урючным клеем и положила его в нишу, рядом с местом, где обычно спала Хасият-хан. Вернувшись к очагу, она наложила в чилим свежего табаку, подкинула в него уголек и, окутавшись клубами сизого дыма, задумалась. Думала она...

Впрочем, кто ее знает, о чем она думала. Может быть, она вспомнила, какие хорошие ичиги, капиши и платья припрятаны в сундуке невестки и как хорошо было бы пройтись по улице с невесткой, разодетой в такие богатые наряды, а может быть, она думала, как хорошо йигиту на войне узнать, что у него такая хорошая жена, как Хасият-хан. Кто ее знает...

Наутро за завтраком Мастан-биби сняла сливки с двух чашек молока и налила их Хасият-хан.

— Кушай, доченька,— сказала она ласково,— тебе силы побольше набирать надо. Намазывай на сдобную лепешку.

Уста Кабыл исподтишка наблюдал за женой и посмеивался.

— Чудная женщина,— проговорил он раздумчиво, ни к кому не обращаясь.— Иногда затарахтит, что мешок с орехами, а как до дела дойдет, сразу правильную дорогу находит:

Перевел с узбекского Н. Йвашев.

ДЕВУШКИ ПРИЕХАЛИ ИЗ ГОРОДА

Очерк

Зульфия встала очень рано.

Умываясь, девушка наблюдала, как занимается новый день. Среди оголенных макушек деревьев, видневшихся из-за домов, предвещая восход, на небе появились розовые полосы.

Старый орешник, росший посреди двора, за ночь отряхнул с себя много пожелтевших мертвых листьев. Старик в длинном черном пальто, подпоясанный атласным платком, подметал двор. Листья взлетали из-под жесткой метлы и падали на землю, пропитанную росой.

Наскоро позавтракав, Зульфия ушла на работу в универмаг.

Несмотря на ранний час, во дворе универмага уже собралась группа девушек с рюкзаками, чемоданами и узелками.

Зоя — продавщица парфюмерного отдела — в черных сатиновых шароварах стала похожа на белобрысого мальчишку, натянувшего из озорства красную вязаную кофточку. Засучив рукава, Зоя показывала сторожу Абдурахману, как нужно собирать хлопок.

— Хорошо, что показала, — с напускной серьезностью сказал Абдурахман, — я всего 35 лет хлопком занимался.

— Да, здесь показывать — это одно, а там на поле — другое, — заметил заведующий отделом Иван Григорьевич. — Боюсь, как бы Зоюшка не оскандалилась. Нежная, тоненькая, одно слово — городская березка. Откуда у нее силы найдутся.

Зоя что-то хотела возразить, но в это время во дворе показался завхоз Белугин.

Зоя бросилась к нему.

— Спецовки когда будете раздавать?

Завхоз удивленно пожал плечами.

— Да хоть сейчас получайте. Чего вы волнуетесь?

Зоя и Зульфия вошли в склад и увидели на стойке сложенные в кипы аккуратно сшитые телогрейки. Верх был из защит-

ной материи, а подкладка из ситца в мелких ярких цветочках.

— Какие хорошие!—воскликнула Зоя.—Только мне самый маленький размер.

— Идите распишите, — нетерпеливо сказал Белугин. — Рассматривать будете позже.

Два больших грузовика въехали во двор. Водители принарядились. Шофер Коля даже прицепил к шапке цветок.

Начали суетливо рассаживаться в машины. Посыпались шутки.

— Вера ни за что не влезет, ее рюкзак перетягивает, — сказал Иван Григорьевич. Все засмеялись; у Веры в самом деле был такой беспомощный вид! Несколько девушек бросились ей помогать. Со смехом и шутками ее погрузили. Она уселась на скамейку и ее лицо расплылось в счастливую улыбку.

Машины, маневрируя среди ящиков и тюков, медленно выезжали со двора.

* * *

Тихо на дороге. Между вылинявшими серыми ширмами кустов ежевики, поздники, диких трав бегут лентой прозрачные воды. Над арыками висят тутовые деревья, айланты с высохшими кистями семенных крылаток, молодые карагачи с поредевшими кронами.

Машины подъезжают к большой колхозной арке с двумя высокими башнями в стиле бухарских минаретов. Надпись: „Колхоз Победа“. На башнях укреплены новенькие красные флаги на золоченых древках.

Шоферы торжественно сигналият. У девушек с дороги разгорелись лица и немного слипаются глаза. Раздаются голоса: „Вот он, колхоз“, „Приехали!“.

Зоя говорит Зульфий:

— Я думала, что здесь домики маленькие, а оказывается совсем иначе.

И, действительно, контора колхоза — это большой белый дом с двумя массивными колоннами у входа. Широкие каменные ступени ведут к двери. Настоящий парадный ход: дверь выложена разноцветными стеклами и украшена диковинной ручкой в виде куриной лапы, зажавшей синий хрустальный шар. Перед домом разбиты аккуратные клумбы. На них еще не увяли цветы: оранжевые, красные, фиолетовые астры. Между цветами несколько молодых яблонь с опавшими листьями. От входа к шоссе ведет аллея густо высаженного японского тутовника с огромными, уже тронутыми желтизной, листьями.

Иван Григорьевич выходит из кабины и здоровается с председателем и секретарем.

— Ассалом алейкум, — говорит председатель, — наверное устали с дороги?..

Иван Григорьевич отвечает:

— Благодарим, не особенно... Вот, привез вам наших девушек. Не знаю, принесут ли они колхозу серьезную пользу...

Зульфия энергично вмешивается:

— Опять вы, Иван Григорьевич, со своим [недоверием]. Мы поможем вам, раис-ака, собрать хлопок. Можете надеяться на нас. Не развлекаться же приехали...

Председатель старается загладить неловкость:

— Обязательно поможете. Это Иван Григорьевич только так говорит. А думает он совсем иначе.

— То-то же,—замечает Зоя,—а как у вас здесь хорошо... Воздух замечательный. Так легко дышится. Осенью природа еще лучше, чем летом. Не правда ли?

Председатель кивает головой.

Девушки с восторгом осматриваются вокруг. Как много красок разлито в кронах деревьев: орешников, яблонь, урюка, джиды; от красной меди и золота до багрянца зимнего заката, предвещающего ветры. Вдали, на полях, фиолетовые стебли хлопчатника перемешиваются с белыми пятнами хлопка.

В обширном здании конторы уже все приготовлено к приему гостей. Довольный завхоз рассматривает постели. У него растегнут ворот гимнастерки и на толстой шее блестят капельки пота.

В другой комнате на коврах расстелены скатерти. На круглых подносах уложены горки свежих лепешек. В тарелках орехи, перемешанные с джидой и изюмом. На больших блюдах осенний сморщившийся виноград. В углу сложены большие арбузы.

Во дворе над догорающими углями висит большой чугунный котел. Около него на козьей шкуре сидит старик.

Завхоз спрашивает старика:

— Как сегодня получилось у тебя, мастер?

— Отлично,—отвечает старик.

Девушки собираются к ужину, когда уже темно. Медленно и неловко рассаживаются на одеялах, заботясь о том, чтобы было удобнее ногам и прилично.

Председатель, смеясь, говорит:

— А я вот посижу на стуле пять минут, и ноги начнут болеть.

Девушки-колхозницы, разместившись рядом с председателем, обмениваются по этому поводу замечаниями, с трудом удерживаясь от смеха.

— Дорогие гости,—говорит председатель.— Мы очень рады вашему приезду. Поможете нам собрать богатый урожай.— Он делает паузу, точно раздумывая.— Собрать хлопок, конечно, не легкое дело...

— А мы знаем, как это делать,—перебивает Зоя.

— Очень хорошо, что знаете. А кто не знает, научится. Вот наши девушки—лучшие стахановки. Я хочу вас познакомиться с ними.

Все глаза обращаются к колхозницам. Девушки смущены, некоторые опускают глаза.

Одна из них совсем девочка, маленькая, тоненькая, на вид еще более хрупкая, чем Зоя. Зовут ее Лютфинисой.

— Зоя, — говорит Зульфия, — давай с ней работать. Интересно, такая маленькая — и стахановка.

— Давай. Она мне впору, такая же, как и я.

— Лютфиниса Халилова, — говорит председатель, — среди наших сборщиц первая из первых. Она в день собирает до ста пятидесяти килограммов. Иногда и больше.

— Разве это много? — тихонько спрашивает Зоя у подруги.

— Увидишь сама.

— Мамлякат Джафарова, — продолжает председатель, — гонится за Лютфинисой, но, по правде сказать, пока не может догнать. Сколько ты вчера собрала?

Девушка в синей косынке тихо отвечает:

— Сто двадцать девять.

— Сто двадцать девять? Не плохо.

Повар разливает шурпу в большие форфоровые чашки. Над котлом стелется пар, разнося пряный аромат мяса и перца.

* * *

В первый день девушкам разрешили выйти на работу попозже. Утром они занялись своим устройством: аккуратно разместили в общежитии все вещи. Спустя два часа комната приняла вид основательно обжитой. Была даже раздобыта скатерть, которой застелили стол. Большой медный самовар, предоставленный колхозом, был начищен до яркого блеска.

Пришел председатель, посмотрел внимательно общежитие и похвалил.

— Молодцы, девушки. Вечером придет монтер, вам радио проведет. Все знают, на каких участках работают?

— Все, — дружно ответили ему.

Зульфия, Зоя и еще две девушки — Лена и Груня пришли на участок Лютфинисы Халиловой поздно. Солнце уже поднялось высоко. Зоя заметила, что колхозницы одеты в шелковые платья и бархатные безрукавки-камзолы, большей частью черные и темно-красные.

— Почему они так разодеты, Зульфия? Работа ведь тяжелая. Платье можно вымазать и порвать.

— Вымажет, так постирает. Что тут особенного. Дело совсем в другом. Сбор хлопка — народное торжество, а на торжество принято наряжаться. Дома можно попроще платье носить.

Колхозницы приветливо встретили городских девушек. По обычаю все обнялись. Звеньевой Лютфинисы тут не оказалось: она работала на дальнем конце участка.

Зульфия начала собирать медленно. Она рассудила, что к работе надо привыкать постепенно. Недаром ее учитель музыки требовал, чтобы разучивание трудной пьесы она начинала медленным темпом. А скорость приходила сама, почти незаметно.

Зоя, наоборот, начала собирать очень быстро, но бестолково.

Не оборвав полностью хлопка с одного куста, она переходила на другой, потом возвращалась к первому. Впрочем, скоро она поняла, что суетится без толку, и стала внимательно присматриваться к работе Зульфий.

Лена и Груня работали далеко от своих подруг.

За два часа до обеда прибежала Лена.

— Зульфия, у тебя не найдется бинтика? Я поколола палец. Мне очень трудно работать...

— Неженка, ты думала—собирать хлопок, то же самое, что продавать чулки? Ничего не случится с тобой.

Зульфия осмотрела руку Лены.

— Никакого бинтика тебе не нужно. Первый день всегда трудно. Привыкнешь. Не обращай внимания на такие пустяки. Старайся больше собрать, присматривайся к колхозницам.

— Больше собрать... У меня и так уже поясница разболелась...

Зоя не выдержала:

— И у нас поясница болит, смотри, как мы собираем.—Она с гордостью показала на свой мешок. Он был набит хлопком до отказа. Из швов выползали пушинки, покрывая мешковину густой белой паутиной.

Наступил обеденный перерыв. Мальчишка заколотил камнем по куску рельсы, привязанному к дереву. В полевой стан стягивались со всех сторон хлопкоуборщицы.

Зульфия и Зоя пришли позже других. Теперь и они чувствовали усталость.

— Это скоро пройдет, не правда ли, Зульфия,—спросила Зоя, сжимая в кулаки и разжимая отяжелевшие руки.

— Проработаем несколько дней и привыкнем.

— Неужели несколько дней?

Они подсели к колхозницам пить чай.

Лена опять жаловалась: „Исколола все пальцы и два ногтя сломала“.

— Брось, Лена,—сказала Зульфия.—Ты же сама понимаешь, что здесь не место думать о ногтях. Отрастут новые, пока мы научимся норму выполнять.

Груня поддакнула:

— Правильно, выполнять норму, и все.

Груня была спокойная, немного даже флегматичная девушка. Ее цветущее красивое лицо редко омрачалось; чуть приподнятые уголки полных губ придавали ему смешливое выражение. Она удивляла всех своей выносливостью и трудоспособностью. „Работа, так работа,—говорила она.—Взялись, извольте выполнять“.

— Мне лично нравится работать на воздухе,—сказала она наперекор Лене.

— Молодец, Груня. Но хоть ты и мастерица на всякие дела, а я решила побить рекорд. Держись!—сказала Зоя.

Груня с удовольствием ела свежую лепешку. Чуть улыбнувшись, она сказала:

— Правильно, только ты против меня жиденькая. В общем, будет видно.

Перерыв кончился, и девушки снова принялись за работу.

Груня собирала хлопок спокойно, не очень быстро. Как бы невзначай, но на самом деле внимательно присматривалась она к работавшей рядом колхознице. Усталости она не чувствовала. Только осеннее солнце жгло лицо и Груня думала: „Я, наверное, здорово загорела“.

В противоположность ей, Лена с каждым часом работала все хуже и хуже. Она нервничала. Несколько раз жаловалась: „Какая тяжелая работа. Я не в состоянии больше. Поясница болит, как бы не захворать здесь. А руки-то страшные“.

Груня молчала.

Не находя сочувствия, Лена злилась еще больше.

— Ты черствый человек, Груня.

Не поворачиваясь, Груня равнодушно ответила:

— Ты слишком много думаешь, философствуешь. Лучше бы делом как следует занималась.

Зульфия и Зоя работали рядом. Несколько раз Зоя выдвигалась вперед, но Зульфия неизменно ее обгоняла. Зоя притворно сердилась и ругала подругу.

Зульфия сказала:

— Вот завтра у нас будут сильно болеть спины.

— Пустяки, — отозвалась Зоя. — Зато я собрала не меньше колхозной стахановки.

Зульфия только усмехнулась.

После окончания работы весовщик Абдулла-ака сбъявил девушкам их дневную выработку. Результаты оказались плачевные. Никто из четырех не выполнил норму. Зоя была удручена, она сказала Зульфии:

— Мне кажется, нас обсчитали. Я так много собрала, а результат никудышный.

Груня лишь развела руками, услышав свою цифру.

— Неужели? Что-то мало. Ладно, через два-три дня все равно норму выполним.

Лена сказала с сарказмом:

— Я же говорила, что это работа очень трудная. Едва ли мы справимся. Тем более, с искалеченными руками.

Зульфия знаками удержала Зою от пререканий с Леной.

Результаты первого дня не удивили Зульфию, хотя и ей в глубине души казалось, что собрала она гораздо больше. Она записала в свой крошечный блокнот: Груня—17 килограммов, Лена—8 килограммов, Зоя—20,5 килограмма, Зульфия—21 килограмм. Сверху она приписала: норма 40 килограммов.

Девушки пошли все вместе в общежитие. По дороге Зоя спросила Зульфию:

— Как может Лютфиниса Халилова собирать сто пятьдесят килограммов?

— Мне это понятно,—ответила Зульфия.—Знаешь, я часто думала—может ли быть героизм в обычном труде? Да, может быть, Зоя. Ты представляешь, как надо работать, чтобы собрать сто пятьдесят килограммов хлопка! Нам ведь казалось, что мы много собрали. А на самом-то деле?

— И подумать только, такая маленькая—и лучшая сборщица,—сказала Зоя, развязывая розовую в горошинках косынку. Она шла теперь с непокрытой головой. Слабый ветерок шевелил русые короткие волосы, волнистые пряди лезли на лоб и она их много раз поправляла.



Кто войдет в этот маленький двор, тот будет гостеприимно встречен, услышит доброе слово, и всегда найдется для того крепкий ароматный чай. Три поколения живут под этой крышей. Первое не любит вспоминать о прошлом. Второе боролось за новую жизнь и усваивало ее с великими муками, ибо борьба разума и совести с окаменевшими традициями не легче военных сражений. Третье поколение родилось после Октября и верит лишь в новый светлый путь, по которому гигантской поступью движется народ к своему счастью.

Старик сидит в маленькой комнатке, которая служит, главным образом, кладовой. К стене прислонено несколько мешков. В углу целая гора кукурузы. Много места занимают большие оранжевые тыквы. К потолку подвешена клетка с перепелкой. И чеканный крик ее приятен старику. Скоро девочка принесет полную лопатку раскаленных углей из тандыра и высыпет ее в сандал. Старику хочется согреть ноги. А девочка шлепает босая, забывая надеть галоши, и ей совсем не холодно.

Во дворе темно. Журчит арык, проходящий вдоль всего дома и огибающий единственное дерево, старый разросшийся чинар. Летом его крона простирается над всем двором, защищая обитателей от палящего солнца.

В углу, у самого дувала, яркие языки пламени вырываются из тандыра, жадно облизывая сухой хворост. Маленькая девочка обгоревшей палкой сталкивает колючие спутанные ветки в круглую пасть печи. Беснуется, сердито треща, пламя, заточенное в огнеупорный шар.

На земле стоит большой круглый поднос, прикрытый скатертью.

Лицо женщины, пекущей хлеб, освещается пламенем. Оно то целиком погружается в красный горячий свет, то световые пятна причудливо бегут по лицу, открывая глаза, лоб, щеки, шею. Женщина торопится. Скоро должна притти дочь. Пока раскаляется печь, мать с нежностью думает о Лютфинисе: „Как много она работает, бедняжка. Но умница, всех обогнала...“

Печь готова. Женщина выгребает жар.

Девочка проходит по двору с лопаткой мелких красных углей и кажется, будто у нее в руке исполинский светлячок.

В это время мать надевает на руку толстую рукавицу и сажает лепешки; предварительно побрызганные водой, плоские кругляши теста она прилепляет к внутренней стенке шаровидной печи.

Лютфиниса приходит не одна: С ней ее подруга Наджима — табельщица бригады.

Вдвоем они умываются прохладной водой арыка. Маленькая сестренка Лютфинисы — Анор выносит из комнаты полотенце.

Комната освещена электрической лампочкой. Она чисто убрана и нарядна, точно хозяева ждут желанных гостей. Так каждый день встречает Лютфинису заботливая мать.

К потолку комнаты повешены связки отобранных по сортам яблок и айвы, длинные ожерелья ореховых ядер, прослоенных крупным черным изюмом. Это дань древнему обычаю, символизирующему великое изобилие, рожденное землей.

В нишах расставлена посуда: разноцветные в узорах чайники, пиалы китайской работы, расписанные кобальтом, фарфоровые чашки, медные подносы; все это ожидает празднеств — свадьбы, рождения ребенка, окончания полевых работ.

Лютфиниса и Наджима садятся на узкие одеяла — курпачи. Пришел сюда и дед. Мать расстилает скатерть.

— Сегодня Зульфия и Груня выполнили норму, — говорит Наджима, — Зоя-хон немного отстала, а Лена совсем плохо работает.

Дед из большого фарфорового чайника разливает чай.

— Городские девушки хорошо работают, — говорит Лютфиниса, — как будто они члены нашего колхоза. — А я, по правде сказать, думала, что они не смогут собирать хлопок.

— Было бы желание, — вставляет дед. — Всему можно научиться. Сейчас молодые за что ни возьмутся, все сделают. В наше время такого не было. Чтобы горожанин хлопок собирал? Ни одного случая не вспомню.

— А вот в колхозе „Рассвет“ городские плохо работают. Мне говорил их помощник бухгалтера.

— Отчего? — удивленно спрашивает Лютфиниса у Наджимы.

— Не знаю, может быть, нехорошие люди попались.

— Пустой разговор, там что-то неладно.

— Я вчера проезжал через их поля, возил семена, — говорит старик. — Там у них, действительно, дураки все дело испортили. Председатель, а он, между прочим, чаще пьет вино, чем чай, не позаботился о приезжих. Девушки в поле, на земле спали и не получали пищи. Какая тут работа? Мой друг Джалал-ата говорил, что в колхоз прибыла комиссия специально проверить это дело. Я бы такого председателя пайкой из колхоза, да покрепче по заду.

— Правильно, — подтвердили девушки.

Старик попросил маленькую внучку принести чилим. Девочка быстро исполнила просьбу. Дед наполнил глиняную чашечку чилима табаком, предварительно растертым в крепких, как жер-

нова, ладонях. Девочка принесла щипцами уголек и положила на табак. Старик поднес трубку к губам. Забулькала вода в чилиме. Дед глубоко затянулся и сразу передал чилим матери. Струя голубоватого дыма поднялась к потолку, растаяв между спелыми плодами.

— Председатель обещал сфотографировать лучших хлопкоуборщиц и фотографии вывесить в конторе, — сказала Наджима. — Тебя, наверное, первой снимут.

— Меня уже снимали в прошлом году. Я просила карточку, но фотограф сказал, что она нужна для газеты. Все же он пообещал, если еще раз приедет в колхоз, привезти. Не приехал.

Наджима поблагодарила за ужин и встала. Старик, повинувшись привычке, провел ладонями по бороде, произнеся скороговоркой „омин“, медленно поднялся и ушел к своему сандалу.

* * *

Зоя выпрямилась и на мгновение закрыла глаза. Солнце ослепило ее. Впереди все пространство, которое охватывал глаз, занимали хлопковые поля. Группы деревьев, фигуры сборщиц — все это казалось игрушечным на гигантском ковре, развернутом до самого края неба.

„Я совсем одна, — подумала девушка, — а остальные далеко.“

После вчерашней неудачи Зоя упрямо заявила:

— Сегодня выполню норму. Буду работать подальше от всех Вы, девушки, не обижайтесь на меня, но я ни на минуту не хочу отвлекаться.

Груня шутливо бросила:

— Отвлекаться, конечно, вредно. Дело надо делать. Ничего, не унывай.

Бригадир отвел Зое участок в полукилометре от места, где работали остальные девушки. Она начала работу на рассвете и решила ни минуты не отдыхать до самого обеда. Это удавалось не легко. Так хотелось выпрямиться или полежать, заложив руки под голову, расправить ноющие пальцы.

— Нет, это малодушие, — говорила она себе в такие мгновения, и руки продолжали обрывать мягкие белые комочки.

Когда загудел рельс, она отвязала мешок и пошла к стану.

Зульфия обрадовалась Зое.

— Как у тебя дела, отшельник?

— По-настоящему работаю, не оглядываюсь.

Груня, жуя жидку, добавила:

— Выполнит норму, а может быть две. Все будет в порядке. — И достала из кармана новую горсть сухих оранжево-красных плодов.

— Очень надо... — вставила Лена. — Мы не колхозницы. Сколько соберем, и ладно... Зоя слабенькая девочка, она может и не выполнять нормы.

— К чему такие разговоры, Лена, — строго сказала Зульфия. —

Зоя не такая уж слабенькая. И тут вовсе не сила нужна, а сноровка и опыт. Ты сильная, спортсменка, а что толку...

Пришла Наджима и сразу бросилась к девушкам.

— Девушки, только что взвесили хлопок. Зоя уже собрала дневную норму.

Зульфия обняла Зою.

— Ты умница, Зойка.

Груня добавила:

— А к вечеру будет две. Зря болтаешь, Лена.

— Удивительно,—произнесла Лена.— Мне кажется, произошла ошибка. Спросите у Наджимы еще раз. Может быть, вы ее не поняли?

Зульфия побледнела, но сдержала себя. Зоя не могла произнести ни слова. У нее дрожали губы. Радость была омрачена.

Лена старалась придать своему лицу безразличное выражение, но ей было не по себе. Девушки-колхозницы смотрели на нее недружелюбно. Зато Зою поздравляли, точно она была именинница. Когда пришла Лютфиниса, она расцеловалась с Зоей.

— Скоро я тебя вызову на соревнование,—сказала Лютфиниса.

— Неизвестно, кто победит,—пробормотала Груня.

Колхозница звонко рассмеялась.

* * *

В общежитии собирались гости—колхозники и колхозницы. Вместе с городскими девушками они принимали участие в маленьком празднестве в честь Зои. Зоя выполнила в этот день две с половиной нормы.

Первый раз в колхозе Зоя рассталась с черными шароварами. Она надела любимое платье—голубое со вставками и оторочками из пестрого крепдешина. Оно было немного длиннее других ее платьев, и Зоя в нем казалась старше и строже. Она усердно ухаживала за гостями, наливая им чаю и потчюя пирогами собственного изделия. Особенным вниманием с ее стороны пользовались девушки-колхозницы. Зоя настолько усвоила дело, что могла уже оценить опытным глазом удивительное мастерство колхозных стахановок. Зоя думала: „Самая интересная работа та, в которой приходится преодолевать наибольшие препятствия. Преодолевать и не сдаваться. Гордиться ею. Такая работа достойна человека умного и сильного, любящего свою родину и Сталина“.

Зульфия спросила:

— Лена, а когда мы будем чествовать тебя?

— Это не обязательно,—ответила Лена.—Я не люблю церемоний.

— А по-моему любишь.

В это время Зоя подняла кружку с чаем и все стихли в ожидании тоста.

— Девушки,—сказала Зоя.—Вообразите, что у меня в чаше вино.

Девушкам ничего не стоило вообразить. Только Тураб, секретарь колхоза, громко рассмеялся. Зульфия строго взглянула на него.

— Я пью за наши общие успехи,—продолжала Зоя.—Наш коллектив показал, что он умеет не только продавать чулки, духи, посуду и детские соски, но и собирать хлопок. У меня предложение: просить колхоз присвоить нам почетное имя колхозниц!

Все девушки зааплодировали.

Груня сказала невозмутимо:

— Кто плохо работает, того так не называть.

— Правильно,—поддержали ее девушки.

Колхозницы поднялись, собираясь уходить.

Зульфия сказала тихо Зое:

— Дорогих гостей у нас принято немного провожать. Пойдем.

Когда Зоя и Зульфия прощались на дороге с колхозницами, раздалось урчание мотора и через несколько секунд два ярких снопа света упали к их ногам. Тураб сказал:

— Кажется, секретарь райкома едет.

Подкатила „эмка“ и остановилась около девушек. Сидевший рядом с шофером секретарь райкома вышел и поздоровался.

— Тураб, председатель в конторе?

— Нет, он, наверное, дома.

— У вас было собрание?

— Нет.

— А кто эти две девушки?

— Из города. Присланы хлопок собирать.

Секретарь райкома подошел к Зое и Зульфии.

— Колхозу помогаете? Ну, как вам живется здесь?

— Мы очень хорошо живем и весело,—сказала Зоя.—А сегодня у нас была вечеринка.

— Какая?

Тут вмешался Тураб.

— Мы чествовали Зою-хон,—он указал на Зою,—она сегодня выполнила две с половиной нормы.

— Неужели?—улыбаясь, сказал секретарь райкома.—Спасибо вам, девушка. Выходит, что вы подаете пример колхозникам, как надо работать.

Он горячо пожал руку девушки. Шофер высунулся из машины и густым басом произнес:

— Вот так девушка. Прямо настоящая колхозница.

— Тураб, садись в машину. Поедем к председателю,—сказал секретарь райкома.—Спокойной ночи,—добавил он девушкам.—Желаю вам, Зоя, еще больших успехов, и всем вашим также.

Зоя и Зульфия вернулись в общежитие. Все девушки уже были в постелях. Некоторые успели заснуть, и равномерное ды-

хание разносилось по комнате, укачивая остальных. Две подружки быстро разделались и легли. Обоим очень хотелось спать. Зоя несколько раз зевнула, Зульфия повернулась на правый бок. Глаза уже застилались легким туманом. Вдруг Зульфия почувствовала, что кто-то трогает ее. Она с усилием открыла глаза и увидела около себя Лену.

— Извини меня, ты уже спишь?

— Нет. А в чем дело?

Лена опустилась на постель к Зульфии. Зоя недовольно глядела на нее: „Вот еще, спать не дает“.

— Девушки,—начала Лена.—Я решила с вами поговорить.

— Опять жаловаться на испорченный маникюр?—пробормотала Зоя.

— Перестань, Зойка,—сказала Зульфия.—В чем дело, Лена?

— Знаешь, я весь вечер думала о своей работе. Я совсем здесь, как дура.

— Наконец поняла,—смягчившись, сказала Зоя.

— Я разве хуже всех? Кто из наших попробует соревноваться со мной на брусках?

— Никто. Это, к сожалению, правда,—сказала Зоя.

— Правильно,—подтвердила Зульфия.—Ты же не урод, не слабосильная. Только чересчур манерничаешь.

— Вы думаете, я не понимаю? Завтра не узнаете меня.

— Молодец, Лена,—сказала мягко Зульфия.

Лена поднялась с постели.

— Спокойной ночи, девушки.

* * *

Имя Лютфинисы Халиловой, девятнадцатилетней стахановки колхоза „Победа“, было широко известно во всем районе. Ее работа служила примером для многих колхозников.

Невысокая ростом, худенькая. И руки у нее маленькие, но сильные, с твердыми ладонями, привычные к работе. Лютфиниса собирает хлопок неторопливо, но с необыкновенной легкостью, которую сразу можно заметить у настоящего мастера, в какой бы области он ни работал.

Лютфиниса подружилась с Зоей и помогала ей. Успехи Зои она принимала как свои собственные.

Когда Лютфиниса узнала, что Зоя выполнила четыре нормы и собрала на пять килограммов больше нее, она попросила бригадира поставить их двоих на участок рядом.

В этот день Лютфиниса вышла на работу до рассвета. Она была уверена, что придет первой, и, по правде сказать, удивилась, встретив на дороге Зою.

— Так рано?—спросила она.

Зоя засмеялась.

— А ты?.. Пока дойдем до участка, посветлеет.

Они взялись за руки. Предрассветный холодок заставил их ускорить шаги.

Звезды на темном небе теряли четкость, становясь бледнее и расплывчатее. Низко над землей серым, неясным комком пролетел сонный перепел. И вдруг девушки различили вдалеке очертания гор. В свинцово-сером тумане из ночной мглы как бы возродилась знакомая картина полей, умытых холодной осенней росой.

На участке, отведенном девушкам, было очень много хлопка. Вот где, действительно, можно было померяться силами.

Как обычно, вместе пришли Зульфия, Груня и Лена. Зульфия сказала Зое:

— Зочка, сегодня не подведи, ты нам славу принесешь. И мы тоже постараемся.

— Ладно, ладно... А как Лена?

— Сегодня обещает норму выполнить.

— И выполнит. Я уверена.

Приближение обеденного перерыва соревнующиеся девушки почувствовали по усталости в пальцах и в пояснице.

— Скоро обед!—крикнула Лютфиниса.

— Да, надо передохнуть,—ответила Зоя.—Я немного устала.

— Скоро отдохнете,—отозвался старик-арбакеш, перевозивший собранный хлопок на хирман.—Я вижу, наша повариха Рисолят-холя уже стоит около рельса.

Арабакеш не ошибся. Звонкие удары об рельс разносились по полям, медленно замирая.

К концу обеда пришел весовщик Абдул-ака с полным румяным лицом, густыми рыжими усами. Он громко объявил:

— Лютфиниса до обеда собрала 109 килограммов. Дай бог ей поскорее выйти замуж,—добавил он под смех девушек.—Зоя-хон,—приподняв бархатную тюбетейку и почесав голову,—111 и 800 граммов.

Тут сразу загудели все голоса.

Абдул-ака принял из рук девушки пиалу чаю, но прежде, чем отпить, крикнул, перекрывая шум:

— Не галдите! Раскричались, как галки.

Но никто не обратил внимания на его грозный окрик.

После обеда обе девушки продолжали работать с неослабевающим упорством.

У Зои было твердое желание исполнить обещание—побить рекорд. А Лютфиниса думала:

— Неужели я, колхозница, уступлю горожанке?

Они прекратили работу, когда наступила темнота.

— Ну и денек выпал,—утомленная, но довольная, сказала Зоя, натягивая ватник. Лютфиниса была радостно возбуждена.

— Хороший день! Побольше бы таких!

Они пошли на хирман, где застали девушек своей бригады. Маленькая керосиновая лампа с закоптелым и надтреснутым стеклом висела на столбе, освещая весы.

Весовщик Абдул-ака разговаривал со сторожем. Девушки обступили его.

— Сколько мы собрали? Взвесили?

Абдул-ака покачал головой.

— Собрали вы много. Но под конец дня у нас весы испортились. Взвешивать будем утром.

— А вы наш хлопок не перепутаете?—с беспокойством спросила Зоя.

— Нет, будьте спокойны, что ваше, то ваше.

Несмотря на позднее время, на хирмане не прекращалась работа. Несколько человек перелопачивали хлопок, разложенный тонким слоем на большой выравненной площадке. Одновременно грузили хлопок в большие веревочные сетки и мешки. То и дело приезжали и уезжали арбы. Слышались громкие окрики арбакешей.

* * *

О торжественных проводах девушек, задуманных председателем колхоза, было известно очень немногим.

Рано утром в канун дня отъезда секретарь Тураб уехал в город, никому не сказав о цели поездки.

Завхоз вызвал к себе в склад старика-повара—и они долго совещались наедине.

Еще раньше, дня за три до проводов, председатель имел продолжительную беседу с художником-корейцем Кимом. После этого разговора Ким заперся в обширном помещении клуба. Несколько раз к нему заходил председатель и, видимо, оставался доволен работой.

Девушки в этот день вернулись с работы рано.

Груня сообщила новость:

— Девчата, по-моему, сегодня вечером у нас будет бал.

Впрочем, об этом нетрудно было догадаться: как и в день приезда, старик-повар возился у очага во дворе, чистил огромный котел, колот дрова.

В это время у конторы остановилась машина. Девушки через окно увидели, как из нее спрыгнул Тураб и несколько мужчин и женщин в нарядных костюмах с музыкальными инструментами.

— Артисты приехали,— сказал кто-то так громко, что приезжие взглянули в окно.

Девушки стали торопливо переодеваться.

Пришел председатель—свежевыбритый, с аккуратно подравненными усами, помолодевший. На нем была белоснежная рубашка, темный костюм и новенькая чувская тубетейка, которая, казалось, если дотронуться до нее, захрустит.

— Ну, девушки, сегодня проводим вас. Пусть хорошие воспоминания о колхозе останутся. Просим всех в клуб.

Художник Ким не зря поработал в клубе целых три дня. На сцене стоял большой портрет Сталина во весь рост в форме генералиссимуса, украшенный алыми гофрированными полотнищами и кустами хлопчатника. Два больших панно, развешанных на стенах, изображали встречу городских девушек в колхозе и

сбор хлопка. Во всю длину помещения висели транспаранты и лозунги. На одном было написано:

„Спасибо городским девушкам за помощь.“

Пол был застлан коврами, а вдоль стен разложены курпачи.

Музыканты уже сидели на своих местах. На мужчинах были пестрые шелковые халаты. Мальчишка легкими ударами пальцев пробовал чистоту тона чильдырмы¹. Два пожилых музыканта держали сурнай и флейту. Женщины-танцовщицы готовились за кулисами к выступлению.

Клуб быстро заполнялся колхозниками. Девушки приходили группами в ярких атласных платьях и бархатных камзолах, в косынках и расшитых тюбетейках из малинового бархата.

Зоя вместе с подругами — Зульфией, Груней и Леной пришли, когда большинство колхозников и колхозниц уже чинно сидело вдоль стен, тихо разговаривая между собой.

— Как хорошо здесь! — воскликнула Зоя. — А колхозницы такие нарядные.

— Тебя будут премировать, увидишь, — сказала Груня.

— Меня? Зачем? Я ведь не колхозница.

— Будут, одним словом, увидишь.

Девушки расселись, перемешавшись с колхозницами.

Заиграла музыка. Бубен четко отбивал такт. Сурнай вел замысловатую мелодию с трелями и неожиданными переходами.

Председатель, завхоз и Тураб втащили на сцену маленький столик. Покрыли его красной материей. Председатель сделал знак музыкантам, и музыка стихла:

— Товарищи, сегодня мы провожаем городских девушек. Они славно поработали в нашем колхозе и помогли нам. Мы сегодня будем премировать лучших из них.

Зоя почувствовала, что председатель смотрит прямо на нее, и ей стало неловко.

— Первой премируется отрезом шелка наша Зоя-хон..

— Встань, Зоя, — прошептала Груня, подталкивая подругу.

Зоя поднялась и медленно пошла к сцене. Сотни глаз следили за ней.

Председатель пожал ей руку и вручил премию.

— Желаю вам больших успехов в жизни, — сказал он тихо.

— Спасибо, — еще тише ответила девушка, — в будущем году опять приедем к вам, если нужно будет.

Затем премии получили Зульфия, Груня, Лена и еще другие девушки.

Столик убрали со сцены, освободив место для танцовщиц.

Тем временем женщины начали расстилать перед сидящими скатерти. Несколько человек расставляли на скатертях большие подносы с лепешками, орехами, изюмом, разноцветными конфетами, нарезанными арбузами.

Снова заиграла музыка. Из-за кулис выплыла юная тан-

¹ Чильдырма - род бубна.

повщица в атласном платье. На её белой тонкой шее сверкали ожерелья. Серьги горели разноцветными камнями. Маленькие руки были украшены браслетами.

Под звуки бубна она кружилась по сцене, производя плавные движения кистями рук и головой. Когда же, танцуя, она запела сильным низким голосом, восторг зрителей был неописуем, танцовщице неистово аплодировали.

В это время у дверей появился председатель. За ним шли Тураб и Ким. Они несли большую доску, закрытую простыней.

Оркестр замолк.

Тураб и Ким укрепили доску на стене.

Председатель осторожно снял простыню. С доски сверкнули золотые буквы: „Лучшие стахановки-хлопкоуборщицы колхоза „Победа“. А под надписью были наклеены фотографии. В центре доски были помещены два самых больших портрета: Лютфинисы Халиловой и Зои.

В порыве неудержимой радости Зоя и Лютфиниса обнялись и крепко расцеловались. Но тотчас же обе смутились и робко оглянулись вокруг...

В зале зааплодировали, зашумели...

С. ЛИХОДЗИЕВСКИЙ

УЗБЕКСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН¹

... где бы мы ни находились, мы должны сохранить для родины священный огонь разума. Друг мой, нужна твердая вера." (Слова Навои. Айбек „Навои“, глава XXII).

1

Роман Айбека о родоначальнике узбекской литературы Алишере Навои уже получил заслуженную высокую оценку — автор романа удостоен Сталинской премии. Этим самым произведение Айбека поставлено в ряд наиболее выдающихся явлений многонациональной литературы Советского Союза последних лет.

Интерес к Алишеру Навои естественен. С именем Навои связано создание древнего узбекского литературного языка. Творец поэм „Изумление мудрых“, „Лейли и Меджнун“, „Фархад и Ширин“, „Семь планет“, „Стена Александра“, сборника стихов „Чардиван“ (четыре дивана — сборника) и ряда других сочинений, культурнейший человек своего времени, покровитель наук и искусств, Алишер Навои вместе с тем является прогрессивным государственным деятелем средневекового Хорасана. Именем Навои может быть названа целая эпоха в культурной жизни Средней Азии (последние 30 лет XV столетия).

Воскресить образ великого Алишера, раскрыть его многогранную, богатую событиями жизнь, подчеркнуть прогрессивные тенденции его литературной и политической деятельности на широком многоцветном ковре исторического романа — такова благородная задача, которую поставил перед собой советский художник Айбек.

Основным источником для Айбека являлось, прежде всего, литературное наследство самого Навои. Поэмы Алишера, его лирика открывают широкие возможности для непосредственного

¹ Айбек. „Навои“. Из-во „Советский писатель“, 1946 г.

проникновения в мир его идей и тончайших душевных переживаний. „Спор о двух языках“ — надежный документ из истории той борьбы, которую Навои вел за утверждение прав древнего узбекского языка как языка литературного. Его „Собрание выдающихся людей“ представляет собой серию характеристик современников — поэтов и ученых. Богатый материал содержит сочинение „Возлюбленные сердца“, своеобразное обобщение жизненного опыта поэта в форме отдельных высказываний и афоризмов.

Наряду с историческими работами, дающими общую характеристику второй половины XV века, в распоряжении автора романа „Навои“ имелась и мемуарная литература, принадлежащая преимущественно перу младших современников Навои. Таковы: „Бабур-намэ“ Захир-ад-дин Бабура, „Книга благородных качеств“ Хондемира, „Удивительные события“ Васифи и т. д.

В свое время Проспер Мериме в предисловии к своему историческому роману „Хроника времен Карла IX“ (1829) писал:

„В исторической науке я больше всего ценю анекдот; из произведений анекдотического характера я выбираю такие, которые, на мой взгляд, наиболее ярко описывают характеры и бытовые особенности своей эпохи... Только меморативные записки, дружеское собеседование мемуариста с будущим читателем дают нам полный образ человека, то есть, то, что составляет предмет моего интереса и моего изучения.“

В такой несколько категорической форме французский реалист обосновывал огромное познавательное значение мемуарных источников для романиста.

В романе Айбека мемуарная литература, живые свидетельства современников великого Алишера, использована очень широко. Читатель часто встречает умело вплетенные в сюжетную канву романа отдельные рассказы мемуаристов о жизни Навои, его деяниях, его сохранившиеся для потомства остроты. Так из мемуаров Хондемира в роман перенесен эпизод о том, как эмир Алишер прикладывает свою печать под высочайшим указом¹, из мемуаров Васифи — в роман, в соответствующей обработке, включена сцена спора между Навои и Беннаи о достоинствах тюркского языка² и т. д. Беглое замечание Хондемира о том, что „Эмир, укрепитель основ добрых дел, очень заботясь об окончании постройки здания, каждый день посещал это благородное место и в большинство дней, подоткнув полы, работал, как все рабочие“³, развернуто в романе в целую картину строительных работ, осуществлявшихся под руководством Алишера.

Для художественных деталей использованы и такие памятники, как миниатюры живописца Бехзада, как аллегорический

¹ Хондемир. „Книга благородных качеств“ (Сб. „Родоначальник узбекской литературы“, 1940, стр. 205).

² А. Н. Болдырев. „Алишер Навои в рассказах современников“ (Сб. АН СССР „Алишер Навои“, 1946, стр. 147).

³ „Родоначальник узбекской литературы“, стр. 193.

рисунок самого Навои „Лев на цепи“, отражающий настроения поэта в годы его изгнания.

Вся эта масса материалов — исторических, эпистолярных, мемуарных, документальных была систематизирована, критически переосмыслена и с помощью поэтического воображения воплощена в полноценные художественные образы.

2

Хорасан (место действия романа) являлся типичной феодальной деспотией. Непрекращающиеся феодальные распри, борьба за власть между многочисленными претендентами на престол, бесконечные войны, ложившиеся тяжелым бременем на народные массы, деспотизм и произвол феодальных правителей, хищничество алчных феодалов, мракобесие реакционного духовенства, острая классовая борьба между феодалами-угнетателями и закрепощенным народом — вот характернейшие черты эпохи, в той или иной степени отраженные в романе Айбека „Навои“.

Во главе феодальной клики — целой армии крупных землевладельцев, тарханов, интриганов-царедворцев, визирей и заместников областей — в романе поставлен султан Хусейн Байкара. Капризный и властолюбивый, любящий торжественность и пышность, Хусейн Байкара предстает перед нами как образ деспота-тимурида, для которого война и придворные кутежи являются родной стихией. В многочисленных батальных сценах он выступает как расчетливый и дальновидный полководец, отличающийся личной храбростью (он мастер рубиться на мечах); в описаниях разгульных придворных пиршеств вырисовывается образ беспробудного пьяницы (история сохранила предание, что Хусейн Байкара почти в течение сорока лет ни одного дня не был трезвым). Сам отпетый интриган, Хусейн Байкара часто становится жертвой интриги то своей жены Ходичи-бегим, то пронырливых царедворцев вроде Маджд-ад-дина или Низам-аль-Мулька. В нетрезвом состоянии он подписывает смертный приговор своему любимому внуку Мумину-Мирзе.

Характер Хусейна Байкары показан Айбеком в развитии, в динамике. Во вступительных главах романа Хусейн Байкара не свободен от претензий на роль просвещенного монарха. Сам не лишенный некоторых поэтических способностей, он приближает к себе Навои, прислушивается к его мудрым советам и даже сочувствует поэту в его борьбе за расцвет родного литературного языка. Но по мере развертывания сюжета мы обнаруживаем трещину в отношениях между султаном и поэтом, которая все время расширяется и приводит к фактическому изгнанию Алишера в Астрабад. Теперь уже Хусейн Байкара окружен продвными интриганскими-царедворцами, своими же креатурами, умело использующими его слабости и пороки в интересах корысти, собственного честолюбия. „В нашей стране насилие и притеснение народа должностными лицами стало обычаем, вот в чем наше великое несчастье“, — говорит Ходжа-Афзалъ.

Типичным представителем придворного окружения Хусейна Байкары является Маджд-ад-дин. Мелкий служащий дивана при Абу-Саиде, везирь Мухаммед-Султана, племянника Хусейна Байкары, Маджд-ад-дин с воцарением Хусейна Байкары делает головокружительную карьеру: вначале парваначи, составитель султанских указов, он затем становится главным везирем султана, клеветой и подкопами парализует влияние Навои на ход государственных дел. Это законченный тип царедворца-временщика, беспощадного грабителя народа. Огромные доходы с наследственных поместий не удовлетворяют его. Используя свое положение царедворца, он становится соучастником откупщика — купца Абу-з-зия, не брезгует никакими средствами ради личного обогащения.

Замечательно рисует Айбек падение этого временщика. Хусейн Байкара в связи с мятежным выступлением Дервиша-Али вынужден дать Маджд-ад-дину отставку. „В диване... в первом ряду, мрачно опустив голову на грудь, сидел Маджд-ад-дин. Рядом, с видом победителя, поместился Низам-аль-Мульк... Навои невольно вынужден был занять место между мгновенно побледневшим, как положно, Маджд-ад-дином и Низам-аль-Мульком, глаза которого злобеще поблескивали из-под длинных ресниц. Вскоре разоложенная дверь в соседнюю комнату распахнулась. Все снова шумно поднялись и почтительно склонили головы. Шатаясь от слабости и опьянения, вошел Хусейн Байкара. Он опустился на бархатные подушки. Присутствующие медленно выпрямились.“ Кажется, что вот-вот разразится катастрофа (вспомним состояние опального Маджд-ад-дина). Но продолжим выписку: „Султан в кратких, но высокопарных словах отметил величие дел и мудрые мероприятия Маджд-ад-дина на пользу государства и подал знак слугам. В комнату внесли большой узел, обернутый кашемировым платком, и развязали его. Хусейн Байкара взял оттуда сверкающий, шитый золотом халат и благосклонно накинул его на Маджд-ад-дина. Он объявил, что назначает бывшему везиру содержание в сто тысяч динаров. Такая щедрость удивила всех. Маджд-ад-дин надел шитый золотом халат и дрожащим, взволнованным голосом выразил свою преданность и любовь к султану, закончив речь всевозможными благожеланиями.“ (стр. 280—281).

Тонкая и беспощадная ирония, глубокая правдивость, несмотря на неожиданный поворот событий, делают эту сцену воистину превосходной.

Но вот султан узнает о невероятных богатствах бывшего „столь дорогого ему везиря“, грабителя и казнокрада. И султан обирает его до нитки. Есть железная логика в этой кажущейся на первый взгляд непоследовательности султана. Логичен и конец царедворца-лицемера: обобранный Маджд-ад-дин отправляется... ко „святим местам“. Порок наказан? Отнюдь нет — порок попрежнему торжествует. На смену Маджд-ад-дину приходит Низам-аль-Мульк. Комментарий Валибека к этой дворцовой перемене очень меток: „О чем вы мечтаете, господин Алишер!—

с горьким смехом сказал Валибек. — На место волка пришла лисица" (стр. 281).

По художественной убедительности рядом с Маджд-ад-дином стоит образ Туганбека. Потомок знатных тарханов, занимавших при тимуридах высокие посты и перебитых в междуусобных войнах, Туганбек „с семнадцатилетнего возраста окупился с головой в бесконечные смуты и мятежи, кипевшие в Мавераннахре, Хорасане, Ираке, Дешт-и-Кипчаке и в других странах, некогда завоеванных мечом „Хромого Тимура“. В погоне за славой и счастьем Туганбек прошел сквозь огонь и воду. Он пресмыкался у порога узбекских ханов и туркменских беков, не обошел никого из них: сам обманывал и его обманывали, сам грабил — и его обирали" (стр. 6). Таким он проходит и через роман Айбека. Полуграмотный человек, авантюрист и рубака, он живет лишь войной и междуусобицами. И хотя порой ему приходится круто (однажды он даже закладывает свой клинок — подарок отца, — чтобы набить желудок), Туганбек, как барс, ждет удобного момента для стремительного прыжка: „Вдруг кто-нибудь обратит на него внимание и его назначат беком какого-нибудь округа. Он соберет там кучку проворных ловких удалыцов, хитростью, угрозами, насильем свалит одного за другим соседних беков и правителей, а там, глядишь, прогонит с трона самого султана и возложит венец на свою голову. Или он посадит на престол какого-нибудь недоросля царевича и возьмет поводья власти в свои руки" (стр. 7).

Молодой честолюбец поднимается сравнительно высоко по ступеням придворной иерархии. Креатура Маджд-ад-дина, его послушное орудие и помощник, он последовательно выступает в роли наглого сборщика феодальных податей, участника заговора мирзы Ядгара, а затем, попав в личную свиту царевича Музаффара-мирзы, добивается благосостояния и с головой окунается в водоворот дворцовых интриг и преступлений. Именно Туганбек является одним из активных участников убийства юного царевича Мумина-мирзы. Характерен конец этого головореза. Его убивает Арсланкул, мстя за похищение своей возлюбленной Дильдор. И эта месть символична: придворный авантюрист, угнетатель народа гибнет от руки героя, вышедшего из народа.

Из второстепенных героев, представляющих правящую феодальную клику, отметим властную царицу Ходичу-бегим, с образом которой тесно связаны эпизоды закулисных дворцовых интриг и гаремных нравов, ближайшего доверенного и баловня Хусейна Байкары — эмира Музаффара Барласа, группу личных врагов Алишера — эмира Могола, лжеученого, тупицу и невежду Шихаб-ад-дина, легкомысленного чиновника Ходжа Хатиба. Все они дополняют картину всеобщего маразма, феодального произвола и тирании, картину, которая превосходно удалась Айбеку.

В этой атмосфере феодальной междуусобицы и средневекового мракобесия, тирании и деспотизма бесчисленных правите-

лей, готовых перегрызть друг другу горло, в этом царстве „врагов света“ вынужден жить и действовать герой Айбека—Алишер Навои. Своим происхождением, своим официальным положением Навои, эмир Хусейна Байкары, связан с господствующими феодальными кругами Хорасана, но си противопоставлен им в романе, как носитель „священного огня разума“, как гуманист, гениальный поэт и прогрессивный государственный деятель.

3

Роман Айбека „Навои“ не является романом биографическим в собственном смысле этого слова: в нем сравнительно большое место отведено героям и сценам, являющимся целиком плодом творческой фантазии автора. И тем не менее центральным образом романа является образ Алишера Навои, поставленный между представителями феодальной знати, с одной стороны, и героями из народных низов—с другой.

История жизни Алишера в романе Айбека показывается с того момента, когда поэт возвращается в Герат и после воцарения Султана Хусейна Байкары получает от него звание хранителя печати (картины детства и юности облечены в форму личных воспоминаний героя).

Алишер Навои—прежде всего гениальный поэт. В романе Айбека мы находим целый ряд превосходных сцен, изображающих, как поэт творит, „отдавись пиршеству мысли и созвучиям слов“. И эти сцены полны подлинного вдохновения. Стихи Навои цитируются в романе часто, цитируются с большим художественным вкусом. Арсланкул, сын народа, созерцая несметные богатства, собранные в саду султана „Джехан-Ара“, вспоминает о раздетых гератских сиротах, задумывается над вопиющей несправедливостью в распределении земных благ и вспоминает обличительные стихи Навои, преисполненные благородного негодования против поработителей народа:

„Бог силу власти в длань твою вложил,
А ты на путь насилья поспешил...
Прекраснейшие ткажи! Но взгляни:
Ведь сотканы из душ людских они!
Ярчайшие рубни! Но съотри,
В них кровь народа запеклась внутри!“;

Так в романе раскрывается поэтическая мощь великого узбекского поэта.

Мы встречаемся с поэтом, борющимся за права родного литературного языка—и, будь то душевная беседа с сочувствующим Алишеру поэтом—старцем Джамии, будь то резкий спор, с литературным противником—злоречивым остроумцем Беннаи, поэт уверен в своей правоте, в торжестве своего дела. Мы видим поэта в тесном кругу своих единомышленников, слышим его остроты, осязаем его преклонение перед искусством и нау-

кой, его любовь и заботу по отношению к прогрессивным деятелям культуры—Бехзаду и Султанмураду, к поэтам и ученым, к живописцам и каллиграфам.

Но в романе Айбека Алишер Навои выступает не только как поэт. Он вместе с тем—царедворец, эмир, приближенный Султана Хусейна Байкары. В изображении отношений поэта и Султана Айбек объективен. В ряде эпизодов рассказано о благосклонном внимании султана к поэту и о том почете, который оказывал султан своему эмиру. В ряде эпизодов показана и негативная сторона сотрудничества гениального поэта с жестоким феодальным деспотом.

В беседе с Джами Навои говорит: „Несомненно одно, что человек, который служит государю, должен быть немым и бессильным. От него требуют, чтобы он закрыл глаза на мерзости. Язык, который хочет разоблачить преступную тайну, отрезают. Положение царедворца—самое трудное. Я не могу представить что-либо труднее“ (стр. 167).

Это горькое признание явилось итогом большого жизненного опыта. С годами Навои все больше убеждался, что Хусейн Байкара, капризный, неуравновешенный деспот, очень далек от того идеала просвещенного и справедливого монарха, о котором мечтал поэт. „Я всю жизнь желал встретить государя, который был бы совершенным человеком, но, к сожалению, видел его только в мечтах,—говорил Навои (Бади-аз-заману. С. 1.).—Вы знаете и понимаете, кого я имею в виду, а если забыли—прочитайте еще раз сказание об Искандере. Вот настоящий повелитель, сокровище добродетелей. В вас нет и тени его достоинств. Вы не годитесь ему даже в нукеры“ (стр. 312). Конечно, Искандер Навои—это далеко не исторический Александр Македонский, это образ, созданный самим Навои, образ, который Навои видел „только в мечтах“. Но, даже разочаровавшись в Хусейне Байкаре и других претендентах на престол, Навои оставался верным своему монархическому принципу. Да иначе и быть не могло—и роман Айбека это показывает. Навои, враг феодальной междуусобицы, сторонник централизованного государства, продолжает поддерживать Султана Хусейна Байкару, как наименьшее зло. „Вот против него сидит человек, который уже почти тридцать лет владеет престолом. Поэт тоже почти тридцать лет так или иначе работает с ним вместе. Навои знает все его слабые стороны, все его недостатки. Он часто совершал неразумные коварные поступки. Поэт сам принял от него много обид и несправедливостей. По временам он ненавидел султана, проклинал его. Однако Хусейн Байкара при всех обстоятельствах почти три десятка лет сохраняет целостность державы. За это время много врагов устремляло взоры на Хорасан. Мало ли и сегодня заговорщиков, горящих желанием растерзать Хорасан на части, раздробить его на отдельные бекства. Некогда статный султан согнулся в три погибели, могучие руки, что раньше твердо сдерживали коня и молодецки рубились мечом,

теперь дрожат. Но все же он и ныне всегда готов защищать свою державу от любого внутреннего и внешнего врага. И до сих пор он самый надежный, хотя и пошатнувшийся, оплот государства" (стр. 307—308).

Историческое чутье здесь не изменило Айбеку; роман показывает, что Навои, ни как поэт, ни как политик, нигде не выходит из рамок феодального строя, нигде не ставит вопроса о его коренной ломке. Вся деятельность Навои—будь то литературная, государственная или просветительская—направлена лишь к тому, чтобы смягчить крайности феодального произвола, облегчить по мере возможностей страдания угнетаемого народа, содействовать процветанию наук и искусств. Этим и объясняется участие Навои в подавлении династических заговоров, в наказании зарвавшихся феодалов—грабителей (эпизод наказания чиновников из налогового ведомства), участие в судьбе жертв феодального насилия (расследование дела об убитой девушке, спасение Дильдор).

Из романа видно, как настойчиво Навои пытался образумить феодальных правителей, призвать их на путь законности и справедливости, как страстно он боролся за реализацию своего идеала просвещенной монархии. Он искал в истории положительного героя и не находил его. „Мысли его уносились в беспредельные страны истории, постепенно открывавшиеся перед его глазами. Над морями крови, башнями из черепов, над бурей пламени, застилавшей небо, Навои с отвращением узнавал ужасную фигуру завоевателя. Он искал в истории героев, которые противостояли ему, неся миру жизнь, воплощая в себе благородные творческие силы человеческого духа, озаряя пути жизни светильником разума" (стр. 284).

Разуверившись в возможности найти такого положительного героя в окружавшей его действительности, видя, как его просвещенные наставления монархам не находят ответа и сочувствия, поэт отходит от „суеты сует" государственной деятельности и переключает свою могучую энергию на поэтическое творчество, на осуществление большого строительного плана (возведение на канале Инджиль целого архитектурного комплекса), на благотворительность (раздача пищи нуждающимся), на меценатство по отношению к целой армии ученых и художников. Именно в этих сферах деятельности поэт находит наивысшее удовлетворение. И когда поэт Джами говорит о том, что „слово государя—приказ, наш долг—повиноваться", Навои парирует: „Охранять независимость сердца и ума—еще более священная обязанность" (стр. 166). Эту „независимость сердца и ума" поэту легче всего сохранить в поэтическом творчестве, в ученых занятиях. Вот почему Навои и отдается им целиком. Царедворец отступает перед поэтом-гуманистом.

В романе Айбека несколько модернизированы понятия „родины" и „народа", понятия, которыми часто оперирует центральный герой, и которые, конечно, не могут быть тождественными

нашим современным понятиям „родины“ и „народа“. Иногда создается впечатление, что в пределах Хорасанского государства существует особое „государство Навои“, имеющее даже нечто вроде своей армии или ополчения. Так Арсланкул, участник обороны Герата, на вопрос Туганбека, чей он йигит, отвечает: „Я из йигитов Навои“ (стр. 374). Ясно, что подобное „осовременивание“ событий исторического прошлого несостоятельно. Кроме того, при чтении романа создается впечатление некоторой статичности центрального образа романа. Навои вводится в повествование сформировавшимся поэтом и мыслителем, слава которого уже повсеместно утверждена. Еще до появления героя в Герате мы сталкиваемся со своеобразным культом Навои в кругах гератской интеллигенции, а ведь основные произведения поэта будут созданы лишь через десятилетия. Наделив своего героя всеми положительными свойствами совершенного исторического деятеля, автор не позаботился обрисовать так же ярко другие черты его характера. Это приводит к тому что временами великий поэт на страницах романа становится более похож на носителя отвлеченных принципов, нежели на живого человека.

И, тем не менее, образ Навои, нарисованный Айбеком, ярок и убедителен.

Показано в романе и ближайшее окружение Навои. Это в большинстве поэты и ученые, художники и каллиграфы (Асафи, Сухейли, Хафиз Яри, Бехзад, Хондемир и многие другие).

Через весь роман проходит образ молодого ученого Султанмурада, сына знаменитого шахрисябского мастера-каменотеса. Способнейший ученик медресе в начале романа, он в дальнейшем, под прямым покровительством Навои, вырастает в талантливого прогрессивного ученого-энциклопедиста, поборника разума и науки, становится одним из тех, кто являлся постоянным обитателем выстроенной Алишером „Унсии“, средоточия наук и искусств, культурного центра Герата.

„Делать людей счастливыми — тоже счастье“, — заявляет Султанмурад (стр. 194), и это его заявление перекликается с высказыванием его учителя и покровителя Навои: „Счастье жизни состоит в том, чтобы видеть, как радуются другие“ (стр. 251).

Погруженный в изучение средневековых наук, включая алхимию, Султанмурад не задумывался над страданиями народа, даже имел превратное представление о нем. Путь к народному счастью он видел в науке, в распространении знаний. Но народный мятеж, развернувшийся на его глазах, пробудил в нем чувство сострадания к народному горю.

Начав самостоятельную преподавательскую деятельность, Султанмурад, наряду с богословскими науками, смело вводит в преподавание и науки светские — логику, математику, астрономию. За это реакционные мракобесы типа Шихаб-ад-дина, бездарные и невежественные, обвиняют его „в распространении вредных мыслей“, клеветают на него и добиваются приказа шейх-аль-ислама

об отстранении Султанмурада от преподавательской работы. Только Навои — его надежда и опора. И мы видим, с каким энтузиазмом Султанмурад работает над книгой „Сборник наук“, которую посвящает своему учителю. Труд завершен, но Навои уже при смерти. „Великий наставник! Книга, которую я писал, закончена!“ — горестно сказал он, еще ниже склоняясь над ложем. Глаза больного на мгновение раскрылись, губы зашевелились, он что-то сказал. Султанмурад не расслышал его слов, но он понял по выражению глаз и движениям губ, что поэт доволен“ (стр. 356).

Так Султанмурад становится продолжателем культурной миссии великого поэта.

4

В классической характеристике феодального строя, которую мы находим в „Истории ВКП(б)“, говорится:

„Частная собственность получает здесь свое дальнейшее развитие. Эксплуатация почти такая же жестокая, как при рабстве, — она только несколько смягчена. Классовая борьба между эксплуататорами и эксплуатируемыми составляет основную черту феодального строя“¹.

Писатель, поставивший себе целью изображение жизни и деятельности великого поэта эпохи феодализма, естественно, не мог игнорировать эту существеннейшую проблему — проблему классовой борьбы в феодальном обществе, проблему феодального гнета. Уже цитируемыми Арсланкулом стихами Навои „бог силу власти в длань твою вложил...“ указывается в романе истинный источник богатств султана и его феодального окружения. Бесконечные феодальные войны, весь блеск и роскошь двора, безудержные разгульные пиршества, претендующие на подражание пиршествам Тимура, все эти „пруды вина“ окупаются угнетенным народом, его кровью и потом.

Роман Айбека демонстрирует, правда несколько смягченными красками, и конкретные формы порабощения народа. Вспомним известную сцену, описывающую, как Туганбек собирает в кишлаке налоги. Из романа мы узнаем, как жиреет на откупах купец Абу-з-зия и его „дольщик“ Маджд-ад-дин. Мы узнаем о том произволе, в результате которого шайка чиновников во главе с Ходжа Абдуллою, Ходжа Кутб-ад-дином и Низам-ад-дин Бахтияром к бесчисленному множеству налогов („подушный“, „десятинный“, „пахотный“ и т. д.) самовольно присоединяет еще одну подать, которая должна пойти в их собственный карман. Это приводит к взрыву народного негодования. „Перед зданием на площади собралась огромная толпа. Больше всего там было всевозможных городских ремесленников и дехкан, которые пришли из окрестностей в своих рваных халатах. Люди были без оружия, но гнев, горевший в их глазах, сосредоточенное, суро-

¹ „История ВКП(б)“. Краткий курс. стр. 120.

вое выражение лиц говорили, что это — страшная сила, вот-вот готовая взорваться... Робкий на вид седобородый старик с плачем жаловался Султанмураду:

— Государь — мусульманин, везири — мусульмане. Но нечестивый, и тот не позволит так притеснять свой народ. В стране исчезли справедливость и правосудие. Законом пренебрегают, мы разорены* (стр. 52—53).

Как видно из дальнейшего, мятежники требуют лишь наказания зарвавшихся чиновников из налогового ведомства, взывают к законности и справедливости. Сам мятеж, не сопряженный ни с какими эксцессами, если не считать ранения Ходжа Абдуллы, не выходит из рамок „законности“. Он улегся, как только Алишер, с санкции Хусейна Байкары, наказал „ненасытного дракона“ Ходжа Абдуллу и его компанию. Здесь в известной мере автор встал на путь романтической трактовки событий. Едва ли в ту жестокую эпоху могли разрешаться столь благополучно и благопристойно такие резкие конфликты между угнетателями и угнетенными.

В этом же аспекте трактуется и дальше тема угнетения народа при феодализме. Правда, мысль о народной нищете, о несчастных сиротах, о бесправном положении слуг-рабов неотступно терзает положительных героев романа. Даже в картине строительства на берегу канала Инджиль, на первый взгляд казалось бы идиллической картине, не упущен из виду „плотный коренастый человек средних лет, который сидел под деревом и зорко наблюдал за каждым движением рабочих“, угрожая „ленивцам“ „почесать плечи палкой“. Правда, страдания несчастной Дильдор, попавшей в султанский гарем, показаны с большой художественной силой. Правда, Навои говорит Арсланкулу:

„Кажется, жестокость и насилие перешли в нашей стране все пределы, но ваша любовь не должна пострадать. Осмелиться похитить дочь народа и превратить ее в рабыню!.. Твоя возлюбленная совершила слишком смелый поступок. В сущности, в нем нет ничего плохого. Самопожертвование в любви — великая добродетель. Любовь, совесть, разум могут только одобрить действия твоей милой. Она дала прекрасное доказательство того, что чистые, благородные люди никогда не покорятся воле таких гнусных тварей, как Туганбек. Но, для того, чтобы найти законное оправдание, надо немного подумать“ (стр. 191—192).

Но все это не дает вполне объективной картины социальных отношений той эпохи. На реалистические позиции писатель становится, когда у него Навои, оправдывая Дильдор, старается опереться на феодальную „законность“, не выходит за ее пределы, как и в вопросе усмирения народного мятежа. В рамках феодальной „законности“, думает он, можно ликвидировать произвол и насилие, укротить носителей зла — гнусных Туганбеков. Для Навои такая точка зрения закономерна, исторически оправдана, так как Навои был сыном своего века и своего класса и никогда не приходил к мысли о коренной ломке феодального строя.

С именами Дильдор и Арсланкула органически связаны картины народной жизни. Мир, из которого эти герои вышли и к которому тяготеют, — это мир патриархальной простоты, честного труда и морального здоровья (семья Дильдор, гератские родственники Арсланкула). Насколько здесь автор близок к истине? Думается, что он в данном случае больше отражает взгляды великих поэтов того времени, нежели следует исторической правде. „Честная бедность“ трудового народа противостоит беспредельной роскоши паразитической знати, народное трудолюбие — безделью богачей, сердечность и простота человеческих отношений — закулисным дворцовым интригам и безудержному эгоизму феодалов, целомудрие нравов (вспомним историю отношений Дильдор и Арсланкула) — грязи гаремных тайн и собственнического отношения к женщине в феодальных верхах.

Вот почему взоры гуманиста Алишера часто обращены к народным низам (хотя Айбек и не делает его демократом), вот почему Навои сочувствует страданиям Дильдор и Арсланкула и по мере сил своих помогает им в их многотрудном существовании. Вот почему Дильдор и Арсланкул, вместе с Султанмурадом, Бехзадом и другими, примыкают к окружению поэта.

5

Роман Айбека „Навои“ отличается композиционной стройностью. Шаг за шагом, в хронологической последовательности перед читателем раскрывается жизнь и деятельность великого поэта с момента его возвращения в Герат в 1469 году и до его смерти. Вокруг центрального образа симметрично располагаются второстепенные герои — его друзья и единомышленники, люди науки и искусства, поборники разума, с одной стороны, и „враги света“, хищные и лукавые царедворцы, феодальные деспоты и мракобесы — с другой. Их сложные взаимоотношения, их характеры и поступки составляют широкую реалистическую картину среднеазиатского средневековья.

Роман Айбека принадлежит к тому типу исторических романов, в которых передний план занимают исторические личности (Навои, Хусейн Байкара, Маджд-ад-дин и др.) Но и герои вымышленные (Султанмурад, Туганбек, Дильдор, Арсланкул и др.) играют также немаловажную роль. Это вполне согласованный ансамбль: судьбы героев — исторических и вымышленных — тесно переплетены, и развитие сюжета романа характеризуется цельностью и организованностью.

Поочередно сменяющиеся главы уводят читателя то на поля сражений, к осажденным крепостям, то в тихую комнату вдохновенного поэта, то переносят в разгульный шум придворных пиршеств, то под мрачные своды феодальной темницы — каждая картина переливается своими, полными жизни и сочности, реалистическими красками.

Излишне распространяться о том, что везде с необычайной

точностью соблюден в романе местный (среднеазиатский) колорит — начиная с одежды и описаний природы и кончая обычаями и нравами.

Восточная цветистость стиля характерна для языка героев Айбека. Она подсказана и памятниками восточных литератур изображаемой эпохи, и текстами ученых книг и мемуаров. Она сказывается прежде всего в безудержном потоке метафор. Язык героев пестрит выражениями типа: „Мне жаль, что я бросил жемчужины слов на ветер“ (говорит Навои); „Сколько кувшинов с золотом вы нашли на дне моря мечтания?“ (Зейн-ад-дин); „Завяжите потуже пояс стремлений к великим делам“ (Туганбек); „Придет время, и птица судьбы опустится тебе на руку“ (Тукли Мерген); „Вас, сударь, тоже, значит, можно поздравить, раз господин Алишер некогда пользовался светом ваших знаний“ (Султанмурад) и т. д. Можно говорить о „всеобщей“ метафоричности языка „ученых“ героев романа, и она, конечно, оправдана.

От метафоричности „ученого“ языка, как правило, свободен язык героев из простого народа. Отличительными чертами здесь являются простота и естественность короткой фразы, сочная пословица и поговорка, меткое сравнение: „Напрасно трудитесь, бабушка, — с досадой сказала Дильдор. — Собака полагает и перестанет. Нужен ли ей котел бедняка?“ Или вот другой отрывок, углубляющийся образом просторечия, — слова тетки Арсланкула, угваривающей его пойти к девушкам:

„Когда прядешь с подружками, не соскучишься. Следишь за соседкой, работаешь, как бешеная... Посмотри на меня, упрямый козел!. Придумай какой-нибудь предлог и пойди к ним или погляди через дувал, — с улыбкой продолжала старуха, ловко разрывая руками тесто. — Сегодня там две новые девушки. Что за красавицы — месяц разбился и упал на землю! Какие глаза, какие брови!“ (стр. 173).

Как видно, дифференцированность речевых стилей проступает и в переводе. Можно представить, насколько она выразительна в подлиннике.

Интересно отметить, что яркая метафоричность характеризует и язык самого Айбека. Он, например, пишет: „Поэт иногда часами сидел один в своем доме, ища способов рассеять тучи беспорядка, затянувшие небо государства“ (стр. 221). „Выдумка летела на крыльях преувеличения“ (стр. 149). „Раньше, чем подует холодный зловеший ветер смерти, он старался собрать в садах вдохновения как можно больше цветов. Но что было делать, если в жизни государства не прекращались землетрясения!“ (стр. 334).

Но Айбек не злоупотребляет этой стилевой возможностью: художественное чутье меры не изменяет ему. Писатель-реалист стремится к простоте и ясности, и его художественная наблюдательность подсказывает ему удачные реалистические сравнения, образы: „Навои выехал в степь, которая в течение нескольких дней была полем сражений. То тут, то там валялись луки, обрывки конской сбруи. Пятна пролитой крови на траве напоминали высохшие лепестки тюльпана. Поэт нахмурился, морщины на

его лбу углубились" (стр. 351). „Мулла, услышав приятный, нежный, как свирель, женский голос йигита, тоже удивился" (стр. 344. Речь идет о голосе Дильдор, переодетой воином. С. Л.). Еще один пример: „Абу-з-зия вынул из-за пазухи тяжелый шелковый мешок и, развязав его, со звоном поставил перед хозяином. Лицо и глаза Маджд-ад-дина засияли от радости, как золотые монеты" (стр. 39). Сравнение особенно удачно тем, что в шелковом мешке находились именно золотые монеты, со свечением которых сравнивается свечение лица и глаз Маджд-ад-дина).

6

Роман Айбека „Навои" — первый узбекский исторический роман. Из анализа романа Айбека видно, что художник смог средствами словесного искусства из глубины веков вызвать к жизни исторически правдивый и многогранный образ великого средневекового поэта, воскресить его эпоху и окружение. Роман отличается большой познавательной ценностью. Облик великого поэта при чтении романа облекается плотью и кровью, становится все более осязательным и живым. В его жизни и деятельности справедливо акцентированы все те моменты, которые носят с исторической точки зрения объективно прогрессивный характер. Его борьба за права родного языка быть языком литературы, гуманизм его творчества и просветительская деятельность — все нашло свое отражение на страницах романа Айбека.

Автор романа вовсе не игнорирует того, что в деятельности Навои было определено временем, конкретно-историческими условиями, господствующим мировоззрением. Роман говорит и о монархических убеждениях Навои, и о его повышенном интересе к суфизму (разговоры с Джамии), о его религиозности и т. д. Айбек понимал, что не эти черты в характеристике Навои являются решающими. Фридрих Энгельс в письме к Конраду Шмидту от 1 июля 1891 г. писал:

„Человек, который судит о каждом философе не по тому ценному, прогрессивному, что было в его деятельности, но по тому, что было необходимо преходящим, судит по системе, — такой человек лучше бы молчал".

Значение романа Айбека далеко не исчерпывается тем, что это первый узбекский исторический роман. Значение его гораздо шире. „Навои" Айбека — одно из немногих в узбекской советской литературе произведений в жанре романа вообще. Роман прокладывает новые пути, по которым будет развиваться узбекская художественная проза.

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

ДРЕВНЕЙШИЕ ПАМЯТНИКИ

Истоки словесного творчества народов Средней Азии таятся в глубокой древности. За много столетий до создания первых памятников письменности возникает устная литература — фольклор. Отрывки народных преданий, сохранившихся в книгах древнегреческих авторов, свидетельствуют, что уже двадцать четыре века тому назад на территории нынешнего Узбекистана слагались героические сказания, близкие по теме к современным „дастанам“: о подвигах могучих богатырей, о любви, верности, преданности родине.

Каков был язык этой устной литературы — с уверенностью сказать нельзя: ведь только с появлением письменности слово закрепляется и доходит до будущих поколений. Да и ранние письменные памятники сохраняют нам не живую, народную речь, изменчивую и развивающуюся, как все в жизни; они фиксируют застывшие обороты официального государственного языка тех или иных иноземных властителей, зачастую непонятного коренному населению.

Немало завоевателей видели на своей земле древние жители Средней Азии, и каждый приносил с собой свой язык, свою письменность. Большинство иноязычных алфавитов плохо подходило для передачи звуков местных языков; лишь немногие графические системы на некоторое время утвердились в покоренной стране. Наиболее живучим оказался древне-семитический, арамейский алфавит, применявшийся в гражданской жизни со времен владычества в Средней Азии иранских царей из династии

* В 1947 году редакция „Звезды Востока“ предполагает напечатать ряд очерков по истории узбекской литературы. Эти очерки призваны дать читателям представление о важнейших этапах развития литературы узбекского народа.

Некоторые материалы для печатаемого ниже первого очерка заимствованы из неопубликованной работы на ту же тему профессора Е. Э. Бертельса.

ахеменидов (в V—VI веке до н. э.) Все позднейшие алфавиты, возникшие на территории страны, происходили от арамейского.

Господство этого алфавита в его различных видоизменениях первоначально распространялось в Средней Азии только на иранские наречия. Однако, в дальнейшем сфера его применения расширилась. Из арамейского алфавита, дополненного несколькими знаками, возник тот алфавит, которым написаны древнейшие из известных до сих пор надписей на тюркском языке.

Обнаруженные в верховьях Енисея и на реке Орхоне, в Монголии, эти надписи получили название „енисейско-орхонских“. Честь открытия орхонских надписей принадлежит русскому путешественнику Н. М. Ядринцеву. В 1889 году на берегах Орхона Ядринцев нашел огромные камни, покрытые загадочными письменами, похожими на те, что еще раньше были обнаружены в Сибири. Открытие Ядринцева возбудило огромный интерес. В бассейн Орхона было направлено несколько экспедиций, надписи сфотографировали и начали усиленно изучать.

Попытки прочитать таинственные знаки сначала оставались безуспешными. Лишь в 1893 году датский лингвист В. Томсен нашел ключ к орхонским письменам. Опубликованный им три года спустя перевод надписей был впоследствии значительно исправлен выдающимся русским тюркологом П. М. Мелиоранским.

Орхонские надписи, как уже сказано выше, являются древнейшим из известных до сих пор памятников тюркского языка. Алфавит надписей оригинален. Его древние творцы, видимо, прекрасно знали свой язык и создали весьма совершенную графическую систему, как нельзя лучше приспособленную для передачи составляющих его звуков. Орхонские надписи нельзя назвать литературным памятником в прямом смысле слова, но некоторые элементы художественного творчества в них все же обнаруживаются. Наиболее интересна эпитафия на надгробном памятнике тюркскому царевичу Кюль-Тегину, составленная по приказу его брата, хана Бильге, племянником последнего Еллик-Тегинем в 731 году н. э. Надпись была изготовлена в двадцать дней. Начинается она со своеобразного обращения Бильге-хана к слушателям; далее идет описание владений хана и характеристика его, так сказать, внешней политики. За вступительной частью следует история тюрков, изложенная в достаточной степени наивно; осведомленность автора надписи о прошлом своего народа была, видимо, весьма незначительной. Дойдя до царствования самого Бильге-хана, Еллик-Тегин воздает ему должную хвалу и переходит к своей главной теме — рассказу о жизни брата хана, Кюль-Тегина, и его воинских подвигах. Заканчивается эпитафия перечислением гонцов, прибывших отовсюду для выражения сочувствия Бильге-хану.

Литературные достоинства надписи в честь Кюль-Тегина не высоки, но в некоторых местах язык ее все же не лишен выразительности и проникнут подлинным чувством. Автор эпитафии

нередко прибегает к параллельным фразам и антитезам, столь характерным для позднейших ближневосточных литератур. Многие эпитеты, метафоры и сравнения, встречающиеся в надписи, до сих пор живут в фольклоре отдельных тюркских народов.

Однако эпиграфия Кюль-Тегина и прочие орхонские надписи ценны для нас не как литературный памятник, а как древнейший образец письменности на одном из тюркских языков.

Какой же это был язык? Можем ли мы считать его прямым предком современного узбекского языка?

Изучение орхонских надписей не позволяет установить их непосредственную связь с каким-либо из известных нам языков тюркской системы. Тем не менее некоторые особенности языка надписей сближают его с языками восточно-тюркской группы, к которой относится и узбекский. Отдельные элементы языка орхонских надписей перешли в старо-узбекский язык, другие свойственны тюркским языкам иной группы. Как явствует из содержания надписей, уже в древнейшие времена у тюрков были сильно развиты любовь к свободе, к своему народу. Выше всего они ценили свою независимость, достойнейшими добродетелями считали честность, верность слову и воинскую доблесть.

* * *

Орхонские надписи, как уже сказано, возникли в первой половине VIII века. Политические условия в Средней Азии в последующие несколько столетий не благоприятствовали развитию литературы на тюркских языках. Начавшееся в том же VIII веке вторжение арабов принесло с собою новую для местного населения письменность, насильственное распространение ислама на некоторое время создало арабскому языку монополию в области литературы и науки. Реакция покоренных народов против владычества иноземцев привела у арабов к смене династии, а в Средней Азии вернула к власти представителей туземной аристократии, сломленной при завоевании страны. На территории арабского халифата возникло несколько фактически независимых княжеств, управлявшихся местными владетелями, лишь номинально зависимыми от халифа. В Мавераннахре (нынешний Узбекистан) пришла к власти династия Саманидов, представителей родовитых иранцев.

При Саманидах арабский язык понемногу утрачивает свое монопольное положение, сохранив за собою лишь область религии и науки. На персидском языке создается множество прекрасных художественных произведений, авторы которых пользуются при дворе Саманидов большим почетом. В ином положении оказываются тюрки: литература на тюркских языках попрежнему не получает признания, не выходя за пределы устного народного творчества.

На рубеже X и XI веков обстоятельства изменяются. Династия Саманидов падает, свергнутая пришедшими с северо-востока тюрками. С утверждением в Мавераннахре власти тюрков-

карахаидов резко повышается интерес к изучению родной им речи. Источники сохранили нам названия более двух десятков лингвистических работ, созданных в XI и XII веке—грамматик и словарей тюркских языков. Почти все эти сочинения до нас не дошли или, по крайней мере, не найдены, но одно из них, по счастью, уцелело. Это—знаменитый словарь Махмуда Кашгарского „Собрание тюркских языков“.

Махмуд-ибн-Хусейн-ибн-Мухаммед Аль-Кашгари происходил из Кашгара и был сыном бека тюркского племени. Родился он, вероятно, в конце 30-х годов XI века и получил прекрасное образование. Наряду с военным искусством (он уже в детстве был отличным стрелком) юноша в совершенстве усвоил и так называемые „исламские науки“, т. е. арабский язык, словесность, богословие. Глубоко любя родной тюркский язык, Махмуд Кашгари неустанно ездил по различным областям мусульманского мира и собирал материалы для своей будущей книги. В результате возникло „Собрание тюркских языков“, работу над которым он закончил в 1072 году.

Труд Махмуда Кашгарского, написанный на прекрасном арабском языке, по форме представляет собою тюркско-арабский словарь. Но автор не ограничивается простым переводом тех или иных слов с тюркского на арабский. Он указывает, в каком именно из тюркских языков употребляется данное слово, и сопровождается перевод обстоятельными пояснениями—чаще всего этнографическими. Приводя названия местностей, племен и народов, автор сообщает также и различные предания о происхождении этих названий. Однако, главную ценность словаря Махмуда Кашгарского составляют многочисленные тюркские пословицы, поговорки, отрывки из устной поэзии, которые автор приводит, чтобы лучше пояснить значение толкуемого слова. В этом отношении „Собрание тюркских языков“ настоящий клад для языковеда и фольклориста. Изучение собранных Махмудом Кашгарским образцов народного творчества наглядно показывает все богатство, красочность и разнообразие устной тюркской речи в XI веке н. э. Укладом жизни воинственных тюркских племен объясняется явное преобладание в их фольклоре боевых мотивов. Поражает сжатость и выразительность отдельных отрывков, дающих в нескольких строках законченную картину боевых столкновений тех времен:

К вечеру мы откочуем,
Перейдем реку Ямар,
Ключевой воды поьем,
Бегущий враг будет разбит.

Окружим его со всех сторон.
Сойдем с коней на землю,
Как львы, подкроемся,
Пусть сила его убавится.

Замечательна также форма переведенного отрывка. В ориги

нале это—два четверостишия, в каждом из которых три первые строки рифмуют между собой, а заключительные строки обоих куплетов связаны общей рифмой. Мы имеем перед собой несомненный прообраз тех четырехстрочных куплетов, из которых народные узбекские певцы и поныне слагают свои сказания.

Наряду с военными песнями, значительное место занимают в словаре Махмуда Кашгарского и стихи, воспевающие природу во всем многообразии ее явлений. Свежестью и непосредственностью восприятия дышит такой, например, отрывок:

Пришла весна,
Весенние воды полились бурным потоком
Родилась утренняя звезда;
Слушай речи мои без смеха.
Спустилась, гремя, туча,
Сыплется дождь с градом,
Воздух ее несет,
А куда она идет—неизвестно.

Махмуд Кашгарский собирал свой материал среди различных тюркских народов. Нет сомнения, что он побывал и там, где жили предки современных узбеков,—в землях, соседних с родным ему Кашгаром. Трудно сказать, что именно из записанного им материала собрано на территории нынешнего Узбекистана, но неоспоримым остается тот факт, что многие из приведенных в „Собрании тюркских языков“ речений и до сих пор живут в устах узбекского народа, правда, в несколько изменившейся, с течением столетий, форме.

Как мы видели, автор „Собрания тюркских языков“ черпал содержание своего труда из сокровищницы народной поэзии. Иными, чисто-литературными образцами вдохновлялся современник Махмуда Кашгари, Юсуф Баласагунский, автор первой большой поэмы на тюркском языке: „Куталгу-билик“ („Знание, приносящее счастье“).

О жизни автора этой поэмы мы знаем очень мало. Уроженец города Баласагуна, в Семиречьи, он был воспитан в строго мусульманском духе и считался одним из самых умных и образованных людей в родном городе. Прекрасно знакомый с лучшими образцами персидской поэзии, основанной на заимствованной у арабов системе стихосложения („аруз“), Юсуф решил попытаться использовать эту метрику и на своем родном тюркском языке. Применение системы „аруза“, основанной на чередовании кратких и долгих слогов, к тюркскому языку, не знающему деления гласных на краткие и долгие, было в то время отважным новшеством. Однако Юсуф Баласагунский не отступил перед этой трудностью и сумел вместить свой язык в рамки „аруза“, искусно приспособив его требования к фонетике тюркской речи. Таким образом он открыл двери в тюркскую поэзию новой метрической системе, на основе которой создавали в дальнейшем свои произведения величайшие поэты тюркоязычных народов.

По иранскому образцу расположены в поэме Юсуфа и рифмы: почти во всей книге рифмуются оба полустишия каждого

стиха, как в персидских „месневи“, лишь в конце книги некоторые главы написаны с единой рифмой от начала до конца.

Займовывая у иранцев форму своей поэмы, Юсуф следовал чужеземным образцам и в отношении содержания. В прозаическом предисловии, написанном, повидимому, позднее и не принадлежащем самому Юсуфу, говорится, что автор хотел составить руководство к управлению государством или „наставление для царей“, какие есть у арабов и иранцев. Основная тема книги: правила поведения представителей власти в общественной и частной жизни. В преподаваемых наставлениях отчетливо чувствуется влияние той среды, для которой предназначалась книга. Говоря о том, как следует государю относиться к различным разрядам подданных, автор, между прочим, советует уважать ученых и в особенности купцов, „без которых не было бы драгоценных товаров, составляющих радость жизни“. Поэтам Юсуф, естественно, придает очень большое значение. О земледельцах, ремесленниках, скотоводах говорит, что хотя они и полезны, но от них следует держаться подальше и не вступать с ними в общение. Классовое расслоение общества того времени здесь выражено вполне отчетливо.

Итак, „Кутадгу-билик“ представляет собою „зерцало царей“, сплошь состоящее из советов и наставлений. Повествовательный элемент в поэме почти отсутствует, что не могло не отразиться на характере изложения. Написана поэма довольно сухо, лишь в редких лирических отступлениях речь становится образнее, ярче и выразительней.

Язык „Кутадгу-билик“, обычно называемый уйгурским (сам Юсуф именует его „кашгарским“), очень близок к языку орхонских надписей. Повидимому, то был литературный язык не одного, а многих восточно-тюркских народов, относительно далекий от живой речи.

Юсуф писал свою книгу в родном Баласагуне и закончил ее в 1069 году. Гордый сознанием, что им создана первая книга на тюркском языке, он поднес свой труд правителю Кашгара Кара-Бутра-хану. Хан осыпал Юсуфа почестями и назначил его своим первым царедворцем. На этом посту Юсуф, повидимому, и закончил свои дни.

Из сказанного выше ясно, что значение „Кутадгу-билик“ для дальнейшего развития тюркских литератур, в частности для литературы древне-узбекской, весьма велико. Язык, на котором написана поэма, приняв в себя ряд новых элементов, стал основой старо-узбекского, а через него — отдаленным предком литературного языка нынешнего Узбекистана. Смелый почин Юсуфа Баласагунского, не побоявшегося, вопреки твердо установившейся традиции, выступить с большой поэмой не на персидском, а на тюркском языке, в значительной степени сломил преграду, мешавшую развитию среднеазиатско-тюркского литературного языка и способствовал появлению новых литературных произведений на этом языке. О наиболее значительных из них мы поговорим в следующем очерке.

ЗАМЕТКИ
О РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЭЗИИ
СОВРЕМЕННОГО ИРАНА

Революция 1905 года в России оказала прямое влияние на развитие иранской революции 1906—1911 гг. Еще больший толчок был дан развитию национально-революционного движения в Иране Октябрьской социалистической революцией.

Период с начала иранской революции и до прихода в 1921 г. к власти Реза-хана характерен большими событиями, приведшими в результате к мощным выступлениям широких народных масс Ирана против реакции, деспотизма и налогового гнета шахской бюрократии.

Представители прогрессивно-демократического движения начинают создавать политические организации, профсоюзы и кружки. В большинстве случаев организаторами и руководителями этих объединений была молодежь, получившая образование за границей. Передовая часть этой молодежи стремилась к изменению существующего режима, проведению социально-экономических реформ в стране; она выдвигала идею революционно-демократической народной республики.

Эти стремления и чаяния прогрессивной части иранской молодежи нашли свое отражение и в иранской художественной литературе того времени, особенно в поэзии; она стала насыщаться социальной и революционной тематикой.

После прихода к власти Реза-хана и провозглашения его шахом Ирана началась расправа с демократически настроенными элементами страны. Шахская тайная полиция подавляла всякие проявления прогрессивного демократического движения, не останавливаясь перед организацией убийств прогрессивно настроенных деятелей.

Молодой талантливый поэт Эшги был убит в своем доме выстрелом из пистолета только за то, что он осмелился писать:

Девиз нашей свободы не будет прочным,
Если его не напишешь кровью...
Язык Эшги не красен своим цветом,
Он—знамя из крови.

Поэт Мухамед Феррохи был убит в тюрьме за свои поэмы, направленные против реакции и деспотизма. По этому поводу писатель Бозорг Алеви в своей книге „Тюремные записки“ пишет:

„Мухамед Феррохи Иезди был умерщвлен руками ненавистных преступников только потому, что он сочинял стихи и при помощи этих стихов вскрывал истинное положение страны в период черной реакции и деспотизма.“

Можно привести имена многих демократически настроенных и прогрессивных поэтов, культурных и политических деятелей, погибших в период царствования Реза-хана.

После вступления Советской Армии и союзных войск в Иран, падения Реза-шаха и ликвидации фашистских гнезд в стране началось бурное оживление политической жизни; усилилось демократическое движение, стали появляться демократические газеты, журналы. Большое оживление стало наблюдаться и в демократической литературе.

Депутат меджлиса 14-го созыва от Народной партии Парвин Гунабаш в предисловии к сборнику поэта и писателя Эфраште пишет о расцвете революционно-прогрессивной литературы в последние годы:

„Иранский народ в период восстания за конституцию разогнал черные тучи, висевшие над страной, но позорный переворот и установление двадцатилетнего полицейского террора еще раз обрекли наш народ на тяжелые черные дни. Молодое литературное движение Ирана, рожденное конституционным строем, было подавлено. Поэты и писатели возобновили подхалимство, восхваление придворных и преклонялись перед марионеточным правительством. Они перестали воспевать истину, побуждать народ на правое дело и бороться с угнетением и грабежом.

В произведениях того времени вряд ли можно найти литературные шедевры. Полицейская цензура, отсутствие свободы слова и свободы печати явились причиной того, что прогрессивные поэты не смогли написать то, что хотели.

Международная обстановка, сложившаяся за последние 2—3 года, в определенной степени повлияла на Иран. Эта обстановка дала возможность иранскому народу начать борьбу за приобретение свободы и права. В результате была организована железная партия „Туде“ (Народная партия). Все угнетенные, интеллигенты и воинствующие сторонники свободы присоединились к этой партии. Вооружившись пером, они начали борьбу с врагами демократии,

угнетения и грабежа, правдиво отражая жизнь Ирана. В этой борьбе выявились скрытые до сих пор таланты."

За последние два-три года выпущено в свет несколько сборников стихотворений, в том числе „Адабияте Туде“ („Литература масс“) — издание Союза молодежи Народной партии Ирана и „Ай гофти“ („Хорошо сказал“) — издание Народной партии Ирана. Авторы поэм и стихов в большинстве своем — рабочие, студенты, представители трудовой интеллигенции. Вот краткие характеристики некоторых из них.

Мухамед Бирия — талантливый поэт, по национальности азербайджанец. Он начал писать в 1936 г. на азербайджанском и фарсидском языках. Ранние его стихотворения, в большинстве своем, состоят из газелей и небольших сатир. Содержание их отражает повседневную жизнь широких масс Ирана. Начиная с 1941 г., с момента крушения деспотического правления Реза-шаха, Бирия начинает в острой форме писать о вопросах общественно-политической жизни Ирана. С тех пор он всегда выступает как боевой поэт-антифашист.

Поэт-сатирик Мухамед-Али Эфраште по национальности гилянец, по профессии учитель. Пишет на гилянском и фарсидском языках. Его стихи и пьесы особенно популярны среди широких масс Гиляна. В своих произведениях Эфраште бичует реакционный режим в стране.

Писатель Али Аскер Муйнян — служащий, по национальности фарс. Работает в управлении просвещения Хорасанской области. Пишет поэмы, выражая в них чаяния широких народных масс Ирана. Большой интерес представляют его поэмы, посвященные Красной Армии („Победа весны“), и поэма о 27-й годовщине Великой Октябрьской революции.

Поэт Менучехр Парави — рабочий. В своих произведениях он выражает новые чувства и новые идеи. Большая часть стихов Парави отражает современное положение страны.

Студент Насер Амели в своих стихах выражает чаяния широких народных масс и призывает их к единству. В числе его произведений имеются стихи, посвященные Красной Армии.

Тематика стихов иранских поэтов-демократов разнообразна. В них говорится об эксплуатации рабочих, о тяжелой жизни крестьянства, критикуется система выборов в меджлис, разоблачается продажность реакционных депутатов, эксплуатация капиталистами и помещиками рабочих и крестьян. Затрагиваются также и другие злободневные темы. Многие поэты горячо призывают трудящихся Ирана объединиться для совместных действий против реакции.

Каковы характерные особенности революционной поэзии современного Ирана?

Почти все произведения написаны в традиционном литературном стиле. Революционные поэты пользуются для выражения нового содержания формой, характерной для восточной поэзии прошлого. Здесь не забыты и неизбежные роза и соловей, ко-

торые воспевались издревле иранскими поэтами и прозаиками, однако в революционной поэзии современного Ирана поэма о розе не является песней о любовном страдании; она несет в себе политическое содержание.

Поэт Эфраште в первой части своей поэмы „Раболепный“ говорит о задачах революционной поэзии:

Возвышенные стихи твои меду подобны.

Да, я раб слов твоих.

Много я читал других стихов, но не таковы—твои.

Они—могила богачам, защита для рабочих.

Они не похожи ни на розу, ни на соловья или луноликую красавицу.

В строках твоих говорится о горячем поте трудового народа.

Али Фаттах Пур в своем стихотворном произведении, озаглавленном „Розу этого сада другие сорвали“, вкладывает совершенно новое содержание в обычный поэтический рассказ о розе.

Горе иранцев неодолимо,

Пока массы не восстанут.

Для достижения своей цели

Нужно трудовые ряды сомкнуть.

Мое и твоё жильё разорено,

А в роскошных дворцах живут богачи-дармоеды.

Шипы воззлись в наши ноги,

Розу этого сада другие сорвали.

Современные революционные стихи, за небольшим исключением, написаны сравнительно простым, доступным широкому читателю языком. Любому слушателю, даже неграмотному, понятно их содержание.

Примером могут служить произведения многих современных иранских поэтов:

Пока не засучат рукава угнетенные,

Грабители будут продолжать грабить народ;

Они не выпустят из рук привилегированных постов,

И боль в наших сердцах мы не залечим никогда

Пьющие тайком кровь народа

Свое черное дело не прекратят,

Если мы будем молчать.

Всюду будут литься потоки в день расправы.

(Мухамед Бирия).

О угнетенный, ты трудишься от зари до зари,

Никто, как ты, так не обречен на нужду и лишения.

Не жди от капля листа лучшей жизни,

Так же, как не ждуг от сухого дерева плодов.

(М. Аббаси).

От печальных вздохов трудящихся помрачнело небо.
Рабочий народ разорен.

Сокровища создаются тяжелым трудом крестьянина,
Он остается в когтях у помещика постоянным пленником.
Если старый мир останется таким, как он есть,
То постоянные войны неизбежны, нам надо это знать.

(Масуми)

Придет день, когда народ ударит в барабан, зовущий к истине.
Этот день будет днем расплаты и возведения виселиц.

(М. Парави).

Многие революционные стихи отражают современное положение страны. В них говорится об ужасах эксплуатации детского труда, о требовании отмены военного положения в Тегеране, о реакционном правительстве, о протесте против закрытия центрального органа Народной партии и т. п.

Поэт Парвин Гунабади в своей поэме „Знаешь ли ты, что взошло солнце истины“ дает картину эксплуатации крестьянских детей, отданных в кабалу фабриканту.

В свое время газета „Расти“ поместила ряд статей, где описывалось тяжелое положение детей на ковроткацких фабриках. Тяжелая жизнь заставляет иранского крестьянина за ничтожную плату отдавать своего сына или дочь фабриканту на несколько лет. На фабриках царит антисанитария, дети болеют трахомой, ревматизмом и туберкулезом. Фабриканты не заинтересованы в улучшении бытового положения детей, так как знают, что по окончании срока договора могут выбросить малолетних рабочих на улицу и нанять других, более крепких и здоровых.

И поэт Парвин Гунабади с большой силой рисует беспробудную жизнь малышей, ставших рабами:

Побежал к отцу с воплями и криком
В день праздника изнуренный мальчик-рабочий.
Он сказал: „О отец, не хочу праздничного наряда,
Я обессилел голодом, купи мне ячменного хлеба.
Из-за сильного холода я не спал эту ночь;
Пощечина мастера оглушила меня.
С великим трудом я тку нежные ковры,
Ни одного динара за это я не получаю, — одни лишь слезы.
Уж сколько лет арендная плата моя сто риадов,
Впредь и так дешевле отдавай меня в наем мой отец“
Отвечая, отец сыну сказал: „Нет плодов от нашего труда,
Этот закорюченный порядок разорил и меня
От семидесятилетних тяжелых забот и трудов,
О сын мой, кроме окровавленного сердца, не имею ничего.“
Услышавший разговор сосед-рабочий им сказал:
„Не печальтесь, угнетению пришел конец.
Знаете ли вы, что взошло солнце истины?
Разве вам не ведомо о единстве рабочего люда?
Вставай и пожми нам руку единства,
Разорви цепи угнетения и рабства!“

Писатель Сеид Махмуд Давуди в своих стихах даёт сатирическую картину выборов в меджлис.

Взяточники всюду стали взяточдателями,
Разбойники торгуют народом.
Голоса народа везде куплены за деньги.
Матушка-родина, куда денем этот срам?

Депутата, купившего голос за деньги, мы никогда не признаем.
Все мы такое правительство предадим забвению.

Следует отметить, что революционные поэты Ирана пользуются не только классической формой для выражения нового содержания. Нередко они смело отступают от традиционного размера. Образцом такого творчества может служить поэма „Поток“, имя автора которой не выяснено:

Мы—капли воды:
Частица за частицей,
Капля за каплей,
Постепенно,
Мы сливаемся,
Соединяемся—
Реку образуем.
Полегоньку, полегоньку,
Струя за струей,
Постепенно,
Сливаемся,
Соединяемся,
Течем и вдруг—
Поток образуем.

Бушуем, вскипаем, бурлим!
Выкорчевываем все препятствия,
Сносим все помехи,
Потрясаем скалы, горы, дворцы!
В нашем движении имущие—ничто.
Мы течем, бушуем, вскипаем,
Сметаём горы, ущелья и поля,
Высоты превращаем в низины,
И всюду, где пышность и высокомерие,
Мы течем, бушуем и бурлим.

Не трудно догадаться, что здесь автор аллегорически изображает революционное движение, которое сметет на своем пути устой старого мира.

Приводимая ниже колыбельная песня под названием „Злополучный баю-бай или международная мелодия капиталистов“, написанная, видимо, тем же автором, является яркой сатирой на капиталистический строй. Песня эта открывает глаза трудовому народу Ирана:

Рабочие, угнетенные, трудящиеся, крестьянские массы,
Баю-бай, баю-бай, баю-бай.
Работайте для нас,
Чтобы мы за труды ваши получали барыши.

Соберите для нас, мы скушаем за вас,

Баю-бай, баю-бай, баю-бай.

Тките для нас, мы ваши головы в вашем саване унесем.

Мы — защитники ваши, мы вас вашей пулей убьем ..

Стройте для нас, чтобы мы жили за вас

Воюйте для нас, чтобы мы стальной вашей овладели.

Рожайте, чтобы ваши дочери нас устроили.

Баю-бай, баю-бай, баю-бай.

Трудитесь, не волнуйтесь, все в полном порядке,

Мы доведем до гроба вас.

Многие произведения молодых авторов отражают бесправное положение иранца-дехканина. Работая на помещичьей земле от зари до зари, крестьянин получает за свой труд ничтожную долю урожая (примерно, одну пятую), но и она сокращается благодаря многочисленным налогам и поборам со стороны управляющего именем, муллы, сеида, дервиша, стражника, старосты и прочих.

В результате крестьянин не может прожить с семьей до нового урожая и вынужден прибегать к займу хлеба у помещика. Такое положение продолжается из года в год, и крестьяне становятся вечными должниками помещика. После смерти их долг переходит к детям.

Писатель Эфраште в своей басне „Шакал в капкане“ так описывает грабеж, который приходится терпеть крестьянину.

„О толстокожий шакал,

Наконец-то ты в капкан попал.

Ты, вор и подлец, так же как и твои прадеды,

Требуйшь мзду за чужие труды.

Разве ты помещик, что требуешь подать,

Или же тебе, как мулле, во имя религии подать?

Разве курица запела петухом,

Чтобы для муллы стать лакомством? ¹⁾

Разве тебе, как сеиду или доверенному лицу,

Платить хумо ²⁾ подлецу.

Разве ты попечитель наших селений,

Или чудом пророка исцеленный?

Может быть ты дервиш,

Пришел на жатву, долю свою тебе бы?

Ты полицейский или лесничий,

Может быть, сборщик конопов или регистратор фамилий?

¹⁾ По установившемуся в Иране поверью, курица, запевшая петухом, может принести несчастье владельцу. Чтобы избежать этого, она должна быть сдана мулле на съедение

²⁾ Хумо — одна пятая часть годового дохода, ежегодно вносимая правополучателями мусульманами сеидам (потомкам пророка). Обыкновенно хумо платят отсталые крестьяне.

От отдела генштаба призыв в армию проводишь,
Или у людей излишки отбираешь?
Быть может, жандармский пост прислал тебя,
Чтобы ты моей курице не давал житья?
.....

От начала пахоты до сбора урожая
Помогал ли мне хоть раз, себя утруждая?
Когда-нибудь в своей жизни
Видели ли твои руки мозоли?
Мерз ли когда-нибудь ты от холода,
Или падал в обморок от зноя?
.....

Если перед смертью имеешь завещание,
Скажи откровенно свое покаяние,
Ибо у бахчи на виселице повешу,
Соломой набив твою шкуру.
Будешь красоваться на виселице,
Как некоторые министры болгарские.
Как только крестьянин до этих слов дошел,
Шакал, тяжело вздохнув, ему сказал:
„Жаль, что ты нерассудительный муж,
Среди мышей—лев, а среди львов ты мышь.
За кражу одной пугицы — на виселицу,
А грабителю десятка деревень почет.
Вора одной дыни у бахчи вешают,
А грабителя сотни селений начальником зовут.
Пиявку, сосущую кровь тысячи дехкан,
Величают „его превосходительство“ и „хан“.
Если бы ты был обладателем доблести, разума и таланта,
Тиранов постигла бы участь шакала.“

Необходимо также остановиться на высказываниях демократических поэтов Ирана о Советском Союзе и Красной Армии.

Пребывание Красной Армии в Иране окончательно опрокинуло всевозможные вымыслы и клевету по адресу Советского Союза, распространявшиеся немецко-фашистскими агентами и иранскими реакционерами. Широкие народные массы Ирана впервые узнали правду о Советском Союзе.

Председатель городской профсоюзной организации Казвина, Нури, от имени рабочих выразил восхищение Красной Армией, „самой сильной и подлинно народной армией мира“. „За время пребывания в Иране,—сказал он,—Красная Армия показала образец культуры в поведении и снискала всеобщую любовь широких масс Ирана.“

Молодой поэт Шаххаб Эфшар в своем произведении под заглавием „Красное Солнце“ восхваляет советскую систему и советский народ, разгромивший фашистские армии.

Видел, как фашистские армии были разгромлены
Мощным ударом потомков революции?
Более не увидишь нацистского гнета,
Вырваны с корнем фашистские планы захвата,
Под знаменем Ленина, под руководством Сталина
Советская земля овеяна славой победы.

Язданбахш Кахраман в своей поэме „Падение Берлина“ пишет:

Падение Берлина—это падение дома угнетения,
Падение Берлина—это падение гнезда злобы.
Падение Берлина—это падение лжи и фальши.
Падение Берлина—это торжество уверенности и правды,
Падение Берлина—это падение воровского притона,
Очага провокаций, интриг и клеветы.

В своей поэме „Красная Армия“, в которой описывается мощь Советской Армии, громящей нацистские армии, Насер Амели в 1944 г. писал:

Да здравствует отважная Красная Армия,
Громящая врагов свободы. Ей слава!
Лишь эта армия является стражем мира,
Пусть она станет еще мощнее. Ей слава!

Муинян в своей поэме, посвященной 27-й годовщине Великой Октябрьской революции, красочно пишет о революции 1917 года, о создании советской власти, о расцвете страны Советов, о дружбе народов, о войне советского народа против немецких захватчиков.

Приводим несколько строк, относящихся к победам Красной Армии:

Разгромлены презренные войска нацистов,
Давно уж мечтавшие господствовать над землей.
Перед мощью воинов Красной Армии
Спина германских войск согнулось, как дуга.
Да здравствует Великий Сталин,
Храбрый, сильный и искусный вождь!

Бирия в своем стихотворении под заглавием „Красная Армия“ описывает славные дела Красной Армии:

Нет силы такой, чтоб сумела сковать твой порыв.
Каждый подвиг твой воинский в памяти родины жив.
Враг дрожит пред тобой! Ты бьешься, себя осенив
Новой славой под стягом багряным, Красная Армия.

Он же в своем произведении „Перед портретом Сталина“ пишет:

Ты и Востоку открываешь вежды,
Восточным племенам—ты друг и брат,
Ты их звезда, их гордость, их надежда.
С любовью на тебя они глядят.

Следует отметить, что обстановка, в которой живут молодые иранские поэты, мало благоприятствует развитию их творчества и культурному росту, так как они не получают ниоткуда никакой материальной поддержки. Каждый из них день и ночь трудится

на фабрике, заводе, в мастерской, купеческой конторе или учреждении с тем, чтобы заработать средства на кусок хлеба.

Реакционные круги Ирана ненавидят этих поэтов-демократов. Они подвергают их всяческим преследованиям. Нередки случаи репрессий. Сторонников прогрессивного движения увольняют с работы как из частных, так и из государственных учреждений и предприятий.

Литературная деятельность для народных поэтов является не искусством ради искусства. Сами, в большинстве случаев, выходцы из народа, вдоволь хлебнувшие горя, они стараются в своем творчестве объективно отразить положение трудовых масс, их чаяния и думы и показать народу пути выхода из тяжелой беспросветной жизни.

НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ ИНДИИ

Литературная судьба Рабиндраната Тагора, великого писателя-гуманиста и общественного деятеля Индии, сложилась несколько необычно. Индийский читатель принял его сразу как самобытного писателя-патриота. Стихи его становились песнями, рассказы читались, и все же вплоть до 1913 года, когда он был удостоен Нобелевской премии, Рабиндранат Тагор оставался в тени. Нобелевская премия привела его к мировой славе и к славе у себя на родине, в его возлюбленной Бенгалии, которой он посвятил все свое страстное и вдохновенное творчество. Нобелевская премия была присуждена ему за сборник лирических стихотворений „Гитанджали“, написанных в годы после смерти его жены, сына и дочери и окутанных вуалью мистицизма, пропитанных пантеизмом. Все действительно ценное в его творчестве, все, что дало современной индийской литературе место среди других литератур мира, было надолго заслонено теми стихотворениями, которые были наиболее близки модернистским литературным течениям периода до 1917 г. И западно-европейская и русская критики в оценке творчества Р. Тагора игнорировали и весь творческий путь поэта и корни его творчества, уходящие в толщу фольклора, и место и значение Тагора в трехтысячелетней истории индийских литератур.

* * *

За годы английского господства Индия пережила „величайшую и, надо сказать правду, единственную социальную революцию, пережитую когда-либо Азией“. Правда, „Англия... подорвала самое основание индусского общества, не обнаружив до сих пор никаких попыток к его преобразовыванию“. — Так писал К. Маркс в 1853 г.

Но, хотя Англия не собиралась преобразовать индусское общество и даже, наоборот, всячески тормозила какие бы то ни

было преобразования, все же революция, произведенная ею, принесла уже к тому времени некоторые, весьма существенные плоды — лучшие представители индусского общества стали задумываться над его преобразованием.

В народных массах возникает и все более растет чувство национального самосознания. Доведенное до крайних пределов ограбление Индии привело к мощной вспышке народного гнева — восстанию сипаев в 1856—57 гг. Это восстание и явилось тем рубежом, который отделяет историю феодальной Индии от истории новой буржуазной Индии.

Именно с этого периода начинает развиваться капитализм в Индии. Возникает национальная буржуазия, возникает национальный пролетариат, но возникают они в стране средневекового феодализма, опутанной цепями кастовой системы, многочисленных культов и религий, что породило чрезвычайную сложность социальных отношений.

Передовые представители индусской интеллигенции жадно впитывали опыт революционной европейской интеллигенции, но этот опыт воспринимается ими еще не критически. Наряду с идеями прогрессивными, демократическими, воспринимаются анархистские идеи. Кроме того, прогрессивные идеи в изложении индийских публицистов приобретают яркую религиозную окраску, особенно в силу того, что восстание сипаев потерпело жестокое поражение, расправа была беспощадной и кровавой, и в стране царил реакция.

Учась у европейской интеллигенции, индусская интеллигенция усваивала также и наиболее передовые литературные идеи. В 1860-80 гг. индусская интеллигенция знакомится с лучшими образцами античной и европейской литературы в переводах на индийские языки. В произведениях индусских писателей этого периода еще господствуют старые литературные традиции. Язык их архаичен и далеко не народен, но произведения эти ярко окрашиваются чувством национального самосознания, а некоторые из них в аллегорической форме призывают к борьбе за национальную независимость. („Убиение Мегнада“ Майкла Мадху Судан Датта).

Молодая буржуазная индийская литература начала усваивать лучшие традиции критического реализма, превосходным проявлением которого явилась драма бенгальского драматурга и писателя Дина Бандху Митра „Зеркало индиго“, бичевавшая произвол плантаторов и давшая реалистическую картину жизни рабочих на плантациях. Роль ее в индийском национально-освободительном движении можно сравнить с ролью „Хижины дяди Тома“ в борьбе за освобождение негров в Северной Америке. Насколько метко и насколько правдиво живописал автор нравы плантаторов и жизнь рабочих плантаций, можно судить хотя бы по тому, что переводчик этой книги на английский язык был оштрафован и заключен в тюрьму, книга была запрещена;

английский историк Е. Смит в своей книге делает замечание, что „читать ее неприятно“.¹

За эти годы сформировались в основном национальные индусские литературы. Национальное самосознание, находившее свое проявление в революционном движении самых отсталых, даже в индийских условиях масс, ищет в это время новые организационные формы.

Такова в общих чертах была обстановка, в которой молодой поэт, потомок видных общественных деятелей, Рабиндранат Тагор выступил на литературном поприще со сборником стихов „Вечерние песни“.

Знакомый с детства с чудесными индийскими сказками, овеянными седой древностью эпическими сказаниями. „Махабхараты“ и „Рамаяны“, еще в школе с упоением читавший индийских классиков — творения Калидалаи, Шудраки, Баны, Дандина и многих других поэтов и писателей, прославивших Индию, юный поэт вращался в кругу бенгальской интеллигенции, жадно прислушивался ко всякому новому слову. Он знакомился с английской литературой (от Дефо и Гольдсмита до Диккенса и Теккерея), а через нее и с европейской литературой. Все это было для него открытием новых земель, открытием того, чего он не мог еще найти в своей родной литературе.

Через 10 лет после литературного дебюта жизнь столкнула Рабиндраната Тагора непосредственно с народом — с крестьянами его родины, и он описывает, но уже не в стихах, а в рассказах, отличавшихся превосходным народным языком, жизнь бенгальской деревни. Эти рассказы доставили ему „честь“ быть зарегистрированным полицией в качестве политически неблагонадежного. Каждый из его рассказов композиционно совершенен, язык красочен и реалистичен. Его рассказы — высшее достижение индийской новеллистики — достойны стоять рядом с лучшими новеллами западных авторов. Темы этих рассказов — насущнейшие для Индии проблемы — произвол английского чиновника („Свет и тени“); положение женщины в индийском обществе („Жива или мертва“), разложение касты и обнищание старой феодальной аристократии в новых, капиталистических условиях („Бабу Найянджора“) и многие другие.

Политические и цензурные условия заставляют поэта прибегать к аллегориям для того, чтобы с еще большей силой бичевать и установления, унаследованные от феодализма, и установления, принесенные англо-индийским правительством — „Остров карт“, „Обучение попугая“ и др.

Рабиндранат Тагор очень чутко отзывается на все народные движения. Писатель страстно желал свободы для своей родины. Крупнейшие свои романы („Гора“, „Крушение“, „Дом и Мир“) он посвящает проблемам национально-освободительного движения. Но ни среди положительных, ни, тем более, среди отрицательных

¹ V. Smith. Oxford History of India. Oxford, 1919 p. 669.

персонажей его романов нет ни одного, кто бы опирался на народ и руководил бы им в борьбе за свободу. Гора — студент, интересы которого как в религии, так и в политике непостоянны, двойственны. Сандип — бессовестный демагог, двуличный и мелкий человек, пропитанный грошовыми ницшеанскими идейками о „сверхчеловеке“, эгоист и вымогатель, которому совершенно чужды интересы народа. Никхиль противостоит Сандипу и пользуется определенным сочувствием автора, но Тагор сознавал, что и не Никхиль будет решать судьбу Индии.

Именно в этом, то-есть в разоблачении действительной сущности и бессилия буржуазного национализма в Индии и его враждебности народу — одна из величайших заслуг Р. Тагора перед народами Индии. В развязке романа — восстание крестьян — зерно будущих призывов писателя к вооруженной борьбе за национальную независимость, с которыми он обращался к китайскому народу.

Русский читатель впервые познакомился с творчеством Р. Тагора в 1913 году, когда в сборнике „Слово“ были опубликованы переводы его стихотворений из „Гитанджали“. За этим последовал ряд изданий его публицистических произведений и двух других сборников: „Возрождающаяся луна“ и „Садовник“. Это были малотиражные издания, рассчитанные больше на узкий круг эстетствующей интеллигенции, не надолго увлекшейся необычным поэтом и не понявшей его.

Авторы предисловий к изданиям произведений Р. Тагора — Балтрушайтис, Тимофеевский и др. главное свое внимание обращали на мотивы пантеизма, на образы, заимствованные Р. Тагором из народной культовой поэзии, считая их; эти образы, прямой параллелью своим вымученным, придуманным символам, не имевшим никакого отношения к народу и чуждым народу.

Первая серьезная критическая статья о его творчестве принадлежала перу Зинаиды Венгеровой. Она была опубликована в 1915 году в апрельской книжке журнала „Современник“. З. Венгерова сумела рассмотреть в Р. Тагоре большого мастера слова, художника реалиста.

Октябрьская революция пробудила в широких массах трудящихся нашей страны особый интерес к культурам народов Востока. Расстрел безоружной толпы в Амритсаре и последовавший затем мощный подъем национально-освободительного движения Индии вызвали живое сочувствие народов нашей родины, боровшихся тогда за свою свободу и независимость против 14 держав.

Одним из фактов такого внимания был непосредственный интерес к литературам Индии и, в частности, к творчеству и личности Рабиндраната Тагора.

Если до этого времени на русский язык переводились только его стихи и публицистика, то за период 1921—1927 гг. переводятся романы, повести и большая часть рассказов Рабиндраната Тагора, его лекции о национализме, в которых он разоблачал на

примере Японии сущность империализма, причем даже в тяжелые годы войны, несмотря на недостаток в бумаге, произведения Р. Тагора издаются большими по тому времени тиражами. Общий же тираж изданных за этот период его произведений достигал почти 200 000 экземпляров.

В послереволюционный период появился и остающийся до сих пор лучшим перевод избранных стихотворений Р. Тагора Ив. Сабашникова.

Советская критика откликнулась на каждую вышедшую вновь книгу Р. Тагора, высоко оценивала его мастерство и ставила в один ряд с такими классиками мировой литературы, как Тургенев и Толстой.

К сожалению, для русского читателя и русской критики творчество Р. Тагора за последние 20 лет, предшествовавшие смерти, осталось неизвестным. А эти 20 лет были для гениального поэта весьма знаменательны. В его поэзии последних лет описывается уже не деревенская идиллия, не мирная семья, а современный город во всем его многообразии и во всех его противоречиях.

Энциклопедически образованный человек, крупнейший поэт и писатель современной Индии, Р. Тагор уже в конце 80-х годов глубоко интересовался социальными проблемами. Он был хорошо знаком с социализмом, но в Индии он не сумел разглядеть класса, способного бороться за его осуществление, и именно этим объясняется его поистине трагический вопль — иначе нельзя назвать следующий отрывок из письма:¹

„Я не знаю, достигли ли социалистический идеал более равномерного распределения благ, но если нет, то воля Провидения поистине жестока, и человек — несчастнейшее из творений“.

Социализм остается для Р. Тагора заветной мечтой до его последних дней. Именно этим объясняется его не угасавший до самой смерти интерес к Советскому Союзу.

В поисках путей дальнейшего прогресса человечества Тагор решает, что ключевой проблемой в этом является воспитание, и особенное свое внимание отныне уделяет проблемам воспитания и народного образования. Он основывает интернациональный университет в Шантиникетане, который должен был, по мысли его основателя, готовить кадры просветителей прежде всего для Индии. Изучая новейшие методы воспитания и обобщая педагогический опыт разных стран, Тагор специально для ознакомления с постановкой воспитания в условиях первого социалистического государства предпринял в 1930 г. путешествие в СССР. За все свое пребывание в СССР Тагор побывал в крупнейших городах — Москве, Ленинграде, Киеве, где посещал школы, детские сады, детские дома, музеи, театры, библиотеки и просветительные учреждения; беседовал с выдающимися советскими педагогами, читал лекции. Его встречали радушно, с открытым сердцем, и он был восхищен виденным. После возвра-

¹ Р. Тагор. Бенгалия. Избранные отрывки из писем, Л. М. 1927, стр. 66.

щения из путешествия он написал книгу „Письма из России“, сыгравшую, несмотря на известную примитивность оценок, положительную роль в распространении правды об СССР в Индии.

Влюбленный в жизнь поэт, мечтавший о счастье на земле для всех людей, не мог уже последние годы так же активно участвовать в политической жизни своей родины, как в 90-х годах XIX века, как в дни раздела Бенгала, но он пристально следил за тем, что делается в Индии и за тем, что происходит в мире. Он обращается к китайскому народу с призывом бороться с японскими захватчиками до конца, пока не будет освобождена от них земля, вспоившая и вскормившая китайский народ. Когда же германский фашизм развязал вторую мировую войну, Тагор обратился к президенту США Франклину Рузвельту с призывом прийти на помощь и очистить мир от фашистской заразы.

* * *

7 августа 1941 года на 81-м году жизни скончался Рабиндранат Тагор — великий национальный поэт Индии, гуманист, общественный деятель, патриот, просветитель. До последних дней Тагор творил. Он сказал своей родине все, что мог сказать. В каждом его слове, в каждой строке его стихов звучит многообразная, бурная, как Ганг во время муссона, Индия.

Он создал себе памятник. Этот памятник в трех с половиной тысячах стихотворений, в книгах романов и рассказов, в его научных трудах, в плодах его общественной деятельности, в его университете, наконец, в созданном им бенгальском литературном языке.

В 1943 году в Бомбее состоялась третья всеиндийская конференция прогрессивных писателей. На этой конференции член политбюро коммунистической партии Индии Данге назвал Рабиндраната Тагора первым из первых, подлинно народным писателем, всю свою жизнь отдавшим служению народу.

Нет народа в Индии, который бы не знал Раби-бабу — его произведения переведены на все индийские языки.

В этом году исполнится шесть лет со дня смерти Р. Тагора. Его произведение уже „не подсудно“ литературной критике. Теперь всестороннее изучение его творчества — задача литературоведения, и, думается, что советское литературоведение — пока единственное, которое действительно способно разрешить эту задачу, ибо оно руководствуется самой передовой теорией — марксизмом.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Светлана Сомова. Москва. У полножья горы Могол-Тау. Изыскатели. <i>Стихи.</i>	1
А. Каххар. „Два чинара“. Роман. Перевел с узбекского Н. Ивашев.	4
М. Шейхзаде. Узбекское море. <i>Стихи.</i> Перевел с узбекского В. Липко.	20
Содык Каландар. Мы на Урале. <i>Повесть. Продолжение.</i>	22
А. Иванов. Колодец в пустыне. Степная станция. <i>Стихи.</i>	44
Гафур Гулям. Женщина, соревнующаяся со своим мужем. <i>Рассказ.</i> Перевел с узбекского Н. Ивашев	46
Ю. Петрович. Песнь о Данко. <i>Рассказ</i>	51
Саид-Ахмад. Мастан-биби. <i>Рассказ.</i> Перевел с узбекского Н. Ивашев	56
Федор Кедров. Девушки приехали из города. <i>Очерк</i>	59

СТАТЬИ

С. Лиходзиевский. Узбекский исторический роман	75
М. Салье. Очерки по истории узбекской литературы. Древнейшие па- мятники.	89

ЗА РУБЕЖОМ

Зайнал. Заметки о революционной поэзии современного Ирана.	95
П. Сивг. Народный писатель Индии.	105

РЕДКОЛЛЕГИЯ: М. АЙБЕК, В. В. ЕРШОВ, С. А. ЛЕВИТИНА,
В. А. ЛИПКО, С. А. МАЛЪТ, Г. САДЫКОВ, С. А. СОМОВА,
М. И. ШЕВЕРДИН (отв. редактор), М. ШЕЙХЗАДЭ.

Адрес редакции „Звезда Востока“: Ташкент, Первомайская, д. № 20.
Телефон 3-38-81

Подписано к печати 4/II 1947 г. Печ. листов 7. Тираж 400 экз.
Изд. № 188. Цена 5 р. Зак. 905. P 02013

Типография изд-ва „Пр. Вост.“ и „Кзыл Узб.“ г. Ташкент, ул. Дзержинского, 8

УГПБУЗ.В.

Цена 5 руб.